

ВИКТОР СЕРЖ

СОПРОТИВЛЕНИЕ

VICTOR SERGE

RÉSISTANCE

свободное марксистское издательство

2015



перевод с французского,
составление — Кирилл Медведев
редактура — Кирилл Адиебеков
обложка — Николай Олейников
предисловие — Ричард Гриман

Виктор Серж (Виктор Львович Кибальчич, 1890–1947) – франкоязычный писатель и поэт, выходец из семьи русских народовольцев, эмигрировавших в Европу. С 1919 году работает в Советской республике, затем – попытки создания коммуны неподалеку от Петрограда, участие в «троцкистской»левой оппозиции, несколько лет ссылки под Оренбургом, освобождение в результате кампании французских писателей, выезд в Европу, запрет на проживание во Франции, наконец, последние годы и смерть в Мексике. Революционер, погруженный в brutальную политическую борьбу, он одновременно «громко говорил правду и продолжал духовные традиции русской революционной интеллигенции в тот момент, когда голоса русских коллег оказались заглушены..», сборник его стихотворений, написанных на Урале, представляет собой уникальную нить преемственности». Вопреки всему, что вынесла постсоветская интеллигенция из «коммунистического» опыта, Серж показал, что политическая ангажированность и художественная состоятельность не только не исключают, но способны органически дополнять друг друга. Поэтому его книгой «Сопrotивление» открывается переводная поэтическая серия Свободного марксистского издательства.

Перевод сделан по книге: Victor Serge. Pour un brasier dans le désert. Plein chant, 1998.

СвобМарксИзд, 2015
<http://fmbooks.wordpress.com/>

ISBN 978-5-98063-024-9

Ричард Гриман
ПРЕДИСЛОВИЕ

Для Виктора Сержа (1890–1947) не существовало противоречия между политической борьбой и поэзией. В его карьере «профессионального революционера» (сам Серж предпочел бы более скромное определение — активист) сочетались роли пропагандиста, организатора, журналиста, агитатора, теоретика, памфлетиста, переводчика, публициста, дружинника, работника физического труда, тайного агента, политзаключенного (он провел в заключении в общей сложности более 10 лет в пяти государствах!). Его политические убеждения менялись — от анархизма через синдикализм, большевизм и троцкизм он пришел к своеобразному социалистическому гуманизму. Но запомнят его в конечном счете как хроникера исторических событий и художника.

Единственный выживший из «созвездия мертвых братьев», воспетого в одном из стихотворений, он был страстным, братским, пронизательным свидетелем, выразившим трагический опыт этих людей в своих текстах, насыщенных идеями, проникнутых человечностью. Особенно пронзительно и емко это выражено в его поэзии.

И какой поэзии! Серж был писателем универсальной культуры, хотя и самоучкой. Блестящий знаток как русской, так и французской поэзии, он мог свободно и без усталости декламировать стихи по памяти (способность, которая не однажды позволила ему сохранить здравый рассудок в тюрьме). В его стихах мы слышим эхо Бодлера, Сюлли Прюдома, Рембо, Малларме, Пеги, Верхарна, Жеана Риктюса, музыкальность, восходящую в первую очередь к Верлену, но также к Аполлинеру. Художник Влади, сын Сержа, вспоминает, как он «пел» свои стихи. Восприимчивый к поэтической новизне в самых разных её проявлениях, Серж был дружен с сюрреалистами Бретоном и Пере (с которым разделил последнюю, мексиканскую ссылку), а по словам Октавио Паса, стал первооткрывателем творчества Анри Мишо и Валери Ларбо, до тех пор неизвестных в Мексике.

Впрочем, богатство поэтического мира Сержа выходит за пределы французской литературы. Оно охватывает

гораздо более обширные пласты истории, географии и классовой борьбы, преломленные через особую русскую традицию спиритуальности, философской глубины и социального сознания. Серж изображает себя «разорванным человеком Евразии», русский дух изъясняется у него на чистейшем французском. Мастерство, с которым две культуры совмещены в его творчестве, сравнимо разве что с конрадовским или набоковским...

Серж (Виктор Львович Кибальчич) родился в 1890 году в Брюсселе, где его родители, русские оппозиционеры, состоявшие в гражданском браке, на время осели в своем постоянном поиске «хлеба насущного и хороших библиотек». Отец Виктора, Лев Кибальчич, был человеком, совершенно неприспособленным к жизни из-за всепоглощающей страсти к науке. Мать Вера Подеровская, бывшая учительница, привила сыну любовь к поэзии и беллетристике в «дешевых изданиях Шекспира и Толстого».

Родители Сержа разошлись, когда ему было 15, мать вернулась в Россию. Виктор предпочел остаться в Брюсселе, где уже влился в братскую компанию бедствующих юных подмастерьев, страстных книголюбцев, жаждущих неизблемых истин. «Нас было несколько подростков, более дружных, чем братья...». Поэзия занимала особое место в революционных движениях начала 20 века, среди которых рос Серж. Виктор и его брюссельские «братья» начали свое политическое образование как активисты Молодой гвардии социализма при Бельгийской рабочей партии. Быстро разочаровавшись в реформизме, они порвали с партией и собрали анархистскую боевую группу, печатавшую собственную газету, статьи в которой Виктор Кибальчич подписывал псевдонимом *Le Rétif* — Строптивый. «Поэзия нам заменяла молитву, она вдохновляла нас, будучи созвучна нашей постоянной жажде возвышенного. На современный город, с его вокзалами, водоворотами толпы, Верхарн бросал свет страдающей благородной мысли, его вопль вполне мог быть и нашим: "Открыть или разбить о дверь кулак!" Разбить кулак, почему бы и нет? Уж лучше так, чем погрязнуть в косности... Жеан Риктюс стонал о тяжелой доле интеллектуала без гроша за душой, корота-

ющего ночи на бульварных скамейках, и не было рифм богаче: обман — самообман, чаяние — отчаяние. Весна у него — “смешенье запахов сирени и дерьма”», — вспоминал позже Серж*.

Серж неточно цитирует Риктюса, зато убедительно воссоздает свои юношеские чувства. В декабре 1908, в канун восемнадцатилетия, Виктор Строптивый изливает свое отчаяние в длинной статье про Риктюса, поэтическую двойственность которого он видел как «бедность, олицетворенную, выраженную, наделенную языком... великолепным языком неожиданных образов — вульгарных, наивных, даже бурлескных — но насколько же проникновенная поэзия!»

Несмотря на недостаток формального образования, Виктор и его брюссельские братья открывали для себя авангардных писателей, музыкантов и художников, дискуссии о современной литературе, а также Ибсена, Вагнера, Шекспира, Уильяма Морриса, Верлена в публичной библиотеке Бельгийской рабочей партии — бельгийские символисты Верхарн и Метерлинк играли большую роль в её культурной работе. В период *fin de siècle* в Европе происходил заметный подъем символистской поэзии, парадоксально сочетавшийся с подъемом анархо-терроризма («пропаганды действием»), причем довольно долго эти движения удивительным образом симпатизировали друг другу.

Потому мы и находим благородные имена Поля Валери, Стефана Малларме, Эмиля Верхарна рядом с Феликсом Фенеоном, Люсьеном Дескавом, Шарлем Малато, Сен-Полем Ру и Октавом Мирбо на страницах анархистских журналов, таких как *Rebel* («Бунтарь») Жана Гравы и *L'endehors* («За гранью») Зо д'Акса. Их эстетику метко охарактеризовал поэт Лорен Телад в своей известной реплике на банкете в присутствии Верлена, Малларме и Золя. Когда спросили его мнение по поводу атаки бомбистов на Палату депутатов, он ответил: «Если жест красив, то жертвы не имеют

* «От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера». Оренбургская книга, НПЦ «Праксис», 2001. <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1201>

значения». Виктор и его юные друзья-агитаторы, росшие в такой атмосфере, не видели противоречия между своей любовью к поэзии и активизмом, все больше сдвигавшимся к насилию.

В 1909 году Виктор с братьями переместились в Париж, где оказались на радикальном фланге анархистского движения, став сначала «анархо-индивидуалистами», а в итоге «иллегалистами», отстаивающими право на «индивидуальную экспроприацию». Впрочем, поэзия была главным, что связывало Виктора с его первой большой любовью, боевой анархисткой и сторонницей свободных отношений Риретт Метрежан, а также с его парижским закадычным другом Рене Вале, с которым они провели множество ночей в прогулках по Латинскому кварталу и обсуждении поэзии. И всё же эта гремучая смесь солидарности, идеализма, анархо-индивидуалистской доктрины, бедности и отчаяния неминуемо вела к трагедии, так что к 1913 году Рене и большинство «брюссельских братьев» погибли — на гильотине или в перестрелках с полицией — в своей тщетной, обреченной войне с заживевшим самодовольным обществом накануне Первой мировой.

Виктор Строптивый не участвовал в кровавых налетах «трагических бандитов» (они же «банда Бонно»), но отказался свидетельствовать против братьев и прославлял их в своей еженедельной газете «Анархия». Его возлюбленная Риретт скрылась, Виктор же был приговорен к 5 годам заключения (1912-1917), вдохновивших его на первый роман «Человек в тюрьме».

В 1917 году он был выслан из Франции и провел 6 месяцев в Барселоне, где работал в типографии и писал для анархо-синдикалистской прессы, участвовал в неудачных пролетарских восстаниях, а также написал цикл стихотворений в прозе «Испанские наблюдения», который был опубликован во Франции в 1923 под «русским» псевдонимом «Виктор-Серж», впервые использованном в Барселоне в 1917, — что символично, под статьей «Свержение царя».

Революция в Барселоне буксовала, и Виктор-Серж, решив отправиться в Россию, на родину отца и матери, двинулся в путешествие по Европе в разгар «великой войны». Вскоре он оказался по «подозрению в больше-

визме» во французском концлагере, где провел 18 месяцев, в отчаянии и без документов. Под конец войны Серж вместе с группой русских заключенных был обменян на французских офицеров, задержанных в Советской России. Так в январе 1919 он оказывается в Петрограде, где обнаруживает вовсе не бурлящий революционный форум, а угрюмый, замерзший и голодный осажденный город, борющийся за выживание под железным руководством большевистской партии.

Хотя по-русски Серж говорил поначалу плохо, о русской поэзии своего времени он знал не понаслышке. Ещё в 1909 году, перебиваясь случайными заработками в Париже, он переводит русские романы и стихи — Арцыбашева, Бальмонта, Мережковского. В 1917, стремясь попасть в Россию, чтобы примкнуть к революционерам, он завязывает дружбу с Николаем Гумилевым, в то время уже известным поэтом, который вскоре примкнет к белым. «Я традиционалист, монархист, империалист, панславист. Моя сущность истинно русская, сформированная православным христианством. Ваша сущность тоже истинно русская, но совершенно противоположная: спонтанная анархия, элементарная распущенность, беспорядочные убеждения... Я люблю все русское, даже то, с чем должен бороться, что представляете собой вы...»*. В 1921 году Серж безуспешно боролся за отмену приговора ЧК своему другу и оппоненту, чей образ и стихи преследовали его долгие годы.

Серж общался с поэтами и писателями с самого своего появления в революционной России страшной зимой 1918-1919, и в его «Воспоминаниях революционера», как и в статьях о советской литературе, написанных для французского журнала «Кларте», можно найти великолепные портреты Александра Блока, Андрея Белого, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Владимира Маяковского, а также пронизательный анализ их творчества.

В отличие от Гумилева, открыто участвовавшего в заговоре против режима, большинство выдающихся поэтов довоенного поколения относились к революции прими-

* Там же. 1, 75.

ренчески. И все же воспоминания Сержа об отношениях с ними отдают горечью. Эпический дух революции, писал он в 1922, породил в поэтах новые творческие порывы, связанные с христианством, символизмом или футуризмом. Цитируя поэму «Христос Воскрес» Андрея Белого (её Серж впервые перевел на французский), вспоминая блоковское мифическое видение Христа «в белом венчике из роз», который, «невидим и невредим», идет через метель перед двенадцатью красногвардейцами в островерхих шапках и с ружьями, а также грандиозную поэму Маяковского «150 000 000», он заключал: «Чтобы понять эти времена, сердца и умы должны подняться до эпического сознания. Факт в том, что в революции есть глубокий лиризм, что это новая вера, что она в любой момент учит приносить в жертву прежние, истощенные, изношенные, устаревшие ценности новым... порой взбудораживая личность до неодолимого чувства свободы...». Собственные стихи Сержа того периода «Город» (1920) и «Макс» (1921) отражают это настроение.

Впрочем, с умножающейся печалью наблюдал Серж за тем, как постепенно угасал творческий огонь этого героического периода, уступая место покорности, двуличию и упадку. «Что мне остается в жизни? — спросил у него однажды Андрей Белый. — Я не могу жить вне России и не могу дышать в ней!» Нечто подобное мы чувствуем в стихотворении Сержа «Задыхающийся». Видя в красном терроре времен Гражданской войны неизбежную необходимость (и тем не менее протестуя против его крайностей, как в случае с Гумилевым), Серж считал его продолжением в последующий, относительно спокойный период «безмерной развращающей ошибкой».

В середине 20-х вокруг Сержа — волна самоубийств: сначала коммунистические активисты, выступавшие против сворачивания внутривластной дискуссии и доведенные до отчаяния повальной бюрократизацией и коррупцией, потом поэты: «Телефонный звонок: "Приходите скорее, Есенин себя убил"... Бегу по снегу, вхожу в номер гостиницы [...], едва узнаю его: он больше не похож на себя...».

Серж отмечал, что Есенин «пытался петь в унисон с эпохой и нашей направляемой литературой. "В своей стра-

противлялись изо всех сил. В статье «Совесть писателя», опубликованной незадолго до смерти в 1947 году, Серж вспоминает о литературном вечере в квартире Осипа Мандельштама в 1932, где поэт прочитал недавно написанное стихотворение о природе и спросил у друзей, считают ли они его «публикабельным». Мандельштам пытался писать «безопасные» стихи, но голос свободы внутри него был так силен, что он не мог его цензурировать. Для Сержа мандельштамовские «видения озера Эривань и снегов горы Арарат пробуждали, как шепчущий бриз, призыв к свободе, подрывную хвалу воображению, утверждение неуправляемой мысли». Мы находим эти же образы и их отражения в стихотворении Сержа «Тифлис».

Через несколько месяцев Серж был арестован и отправлен в ссылку, та же участь вскоре постигла и Мандельштама, погибшего в лагерях. В «Совести писателя» Серж не скрывает ярости по поводу «повсеместной трусости» западных литераторов и интеллектуалов, молчавших целое десятилетие, пока истреблялись такие писатели, как Мандельштам, Пильняк, Бабель, знакомые им лично и переведенные на множество языков. «Никакой пен-клуб, даже те, кто устраивали им банкеты, не задали ни единого вопроса по поводу их судьбы». Признавая храбрость поэтов антинацистского сопротивления (Арагона и Элюара), а также сартровскую концепцию «ангажированной» литературы, Серж не может скрыть и своего отвращения: «Тот факт, что эти стихи подписаны поэтами, которые в других обстоятельствах пели осанну палачам и мучителям, оскорбляли жертв, распространяли ложь над могилами другого Сопротивления, ставившего перед собой те же цели — защиту человека от тирании — приводит нас, путем страшной алхимической реакции, к отрицанию ценностей, которые они утверждали».

Мы находим то же возмущение, слегка затушеванное суровой иронией, в таких стихотворениях, как «Смерть Панаит Истрати»: «Ты лежал на газетных вырезках, как Иов на пепле и навозе, / медленно сплевывая остатки легких в морды этих писак, / благословляющих прибыльные убийства, / продающих загубленные революции» и «Задыхающийся» — о партизане Гражданской войны, умирающим в

безвестности и заброшенности, и его былой храбрости, и которой наживаются «бойкие авторы, / услужливые охотники за славой, охотники за деньгами», пишущие о его подвигах «незабвенные сценарии и романы».

Поразительный факт, очевидный из этого краткого свідетельства Сержа о ярком старте, постепенном упадке и, наконец, трагическом истреблении советского поэтического движения, состоит в том, что из-за своей негибавшей оппозиционности и особого статуса франкоязычного писателя Серж оказался единственным, кто продолжал писать, причем писать свободно. Он громко говорил правду и продолжал духовные традиции русской революционной интеллигенции в тот момент, когда голоса русских коллег оказались заглушены. И так случилось, что его произведения, в первую очередь, сборник стихотворений, написанных на Урале, представляют уникальную нить преемственности между потерянными поколениями и, будем надеяться, новым рождением советской литературы, уже без «белых страниц»...

Конечно, есть определенная ирония, которую Серж, с его девизом «ничто никогда не исчезает», непременно оценил бы: впервые на русском его эпический роман о великих чистках «Дело Тулаева» был опубликован в журнале «Урал»! (январь–март 1989).

Основной корпус стихотворений, формирующих этот сборник, Серж написал в ссылке на реке Урал, в городе Оренбурге, куда был отправлен в 1933 после 80 дней одиночного заключения и допросов в Москве, на печально известной Лубянке. Когда Серж прибыл в Оренбург, когда-то процветающую областную столицу казахов (киргизов)*, кочевого народа среднеазиатских степей, город буквально умирал от голода. Вскоре к писателю присоединились его 13-летний сын Влади и жена Люба, доведен-

* Оренбург был основан в 1735 году как русская крепость на юго-восточной границе империи, на стыке казахских и башкирских земель. С 1744 — центр Оренбургской губернии, центр оренбургского казачества и торговли со Средней Азией. В декабре 1917 г. в городе была провозглашена Киргизская (Казахская) автономия Алаш (в составе России), с 1920 г. — столица Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики. С декабря 1934 г. центр Оренбургской области. (прим. перев.)

ная до умопомешательства сталинскими преследованиями. Поскольку Серж продолжал поддерживать оппозицию, о возможности заработка не было и речи, так что будни проходили в добывании хлеба и дров. Когда политическая полиция перерезала почтовую связь Сержа с Францией, откуда он получал гонорары, семья оказалась на грани голодной смерти. Серж попадает в больницу, где выжил только благодаря тому, что ГПУ в итоге пропустило денежный перевод.

В тот же период ГПУ высылает в Оренбург ряд деятелей, принадлежавших, как и Серж, клевой оппозиции — коммунистов (разумеется, подчистую исключенных из партии), которые выступали вместе со Львом Троцким за внутривнутрипартийную демократию и интернационализм, против сталинской бюрократической диктатуры с её узким национализмом, насильственной коллективизацией крестьян и безумно спешной, насильственной индустриализацией. Некоторые из них были старыми большевиками, участниками революций 1905 и 1917, другие вступили в партию во время Гражданской войны. Всех их отличало мужество и принципиальность — из-за которых по трагической иронии истории эти люди пали с вершин власти, вырванной когда-то ими, лидерами революционных масс, из рук царской реакции, и вновь превратились в гонимых, ссыльных и заключенных повстанцев — в условиях новой реакции, которая пришла к власти в России под именем «коммунизма».

Серж обессмертил их в романе 1939 года «Полночь века», основанном в огромной степени на оренбургском опыте. Все они погибли во время сталинских кровавых чисток, начавшихся с московского процесса летом 1936 года. В отличие от тех коммунистов, которые из страха, преданности партии или отчаяния оговорили себя и приняли участие в кровавом фарсе показательных процессов (см. стихотворение Сержа «Признания»), они остались верны своим принципам до конца. «Я описывал этих людей, — писал Серж, — потому что благодарен им за то, что они существовали, и потому что они воплотили в себе эпоху». «Сопротивление» посвящено именно им.

Весной 1936, благодаря настойчивым протестам французских товарищей, вмешательству Андре Жида и Романа

Роллана, Серж был освобожден (он назвал это «чудом солидарности») и получил разрешение выехать с семьей в Европу. Однако все его рукописи (включая два готовых романа) были незаконно конфискованы охранкой и сгинули. Стихи Серж сумел восстановить по памяти, и они были опубликованы в Париже в 1938 году. Место и время написания наложили свой отпечаток на эти тексты:

«Работу над книгами я завершал с чувством неуверенности, — писал Серж. — Как сложится их судьба, да и моя тоже? По иронии судьбы, столь привычной для России, советская печать как раз отмечала юбилей украинского национального поэта Тараса Шевченко, сосланного в 1847 году в Оренбург «с запрещением писать и рисовать». Он все-таки писал украдкой стихи, пряча их за голенищем сапога. Меня подавляла мысль о том, что несмотря на столетие реформ, прогресса и революций в нашей России сохранялась твердая решимость жестоко подавлять непокорную мысль. Ничего, внушал я себе, надо держаться, держаться и работать даже под этим свинцовым гнетом».

Решимость Сержа очевидна в таких стихотворениях, как «Крепись», «Доверие» и «Стенька Разин». Но главное в оренбургских стихотворениях — переполняющее чувство братства, общности с этой землей и её народом, а в конечном счете с самой вселенной. Для Сержа «тот, кто говорит, тот, кто пишет, прежде всего, говорит от лица всех тех, у кого нет голоса» — таковы герои стихотворений «Уральцы», «Старуха», «Задыхающийся» и целого «Созвездия мертвых братьев», собравшего товарищей по ссылке, которым посвящен сборник «Сопrotивление». На другом уровне письмо для Сержа это одновременно вызов и принятие смерти: «прежде всего потребность схватить, зафиксировать, понять, истолковать, пересоздать жизнь», а потом «поиск полиперсональности, способа прожить несколько судеб, проникновения в других людей и общения с ними».

Подобное представление о миссии писателя было присуще Бальзаку и другим мастерам, однако в миропонимании Сержа есть особое великодушное и необычайное нежность, как в стихотворении «Кассиопея», в котором он призывает свою возлюбленную, молодую медсестру Татьяну, отдать-

ся умершему незнакомцу, с чьим духом он соединился: «у него нет теперь ничего, кроме нашего тепла, ...ничего, кроме моих рук, чтоб обнять тебя». В конце стихотворения Серж закликает сам космос, который «соединяет» его навечно с неизвестным мертвецом «взошедшими звездами и этим знаком меж нами: / сияющими с вышины треугольниками Кассиопеи».

Помимо всеохватывающего чувства общности, есть, безусловно, и что-то от молитвы в поэзии этого научно-марксиста, чья солидарность с человечеством приводит его к своеобразной «материалистической духовности». Она начинается с простого свидетельства — Серж фиксирует жизни и разделяет страдания своих товарищей, непокорных и обреченных революционеров, умирающего человека, старухи, растирающей мел, бедного рыбака или четырех девушек, переправляющихся через Урал. Не романтическая, но проникновенная реальность этих портретов мужчин и женщин, застигнутых на перекрестке истории, географии и экономики, придает им благородство, в котором и состоит их красота.

Однако для Сержа, который не стесняется называть себя в одном из стихотворений «сыном Человеческим», акт свидетельства обретает почти христианский смысл — как добровольно разделенное страдание, как приятие и неприятие неотвратимого зла. Если для Сержа-марксиста человеческое сознание это «душа» материальной вселенной, то для Сержа-поэта литературное творчество — выражение этой души. В центре каждого стихотворения — всегда конкретная личность, неотделимая от зачастую суровых исторических реалий. Впрочем, универсалистское видение Сержа выталкивает стихотворение вовне — в другие времена и пространства. Так «Тифлис», стихотворение, богатое местным колоритом, переносит читателя от базаров и мечетей восточного города к «ледникам Эльбруса и Казбека», а потом ещё дальше — к «безымянным горам единственно нужных континентов — / о абсолютные пустыни, о плодородные континенты согласия и отказа!»

Сержевское ощущение человеческой борьбы, страдания и одиночества, каким-то образом «сохранившееся» — благодаря солидарности и разуму — в космосе, лучше

всего выражено в его последнем стихотворении «Руки», которое, среди прочего, является размышлением о собственной смерти. Начиная с «чудесной связи» между венами его собственных рук и венами на руках старика на терракотовом кувшине 16 века, Серж постепенно прозревает единство, превосходящее время, пространство и, наконец, смерть: «Капля крови — / один луч света падает с руки на руку, / ослепляя».

Вот как описывает последнюю иронию судьбы Сержа его сын и товарищ по ссылке художник Влади:

«Однажды, в ноябре 1947, в Мехико, отец принес мне домой стихотворение. Не застав меня дома, он пошел прогуляться по центру. С главпочтамта отправил мне стихотворение. А чуть позже умер в такси. Той ночью друг принес мне эту новость. Я застал отца на операционном столе в полицейском участке. Желтоватая лампа освещала зловещую комнату. Первое, что я увидел, это его башмаки: они были худые. Я был потрясен, поскольку отец всегда был аккуратен по части одежды, хотя одевался бедно. На следующий день мне не удалось нарисовать его лицо, потому что ему наложили посмертную маску. Я нарисовал только руки, которые были прекрасны. Через несколько дней я получил по почте стихотворение: “Руки”».

1989-2015

Ричард Гриман (1939) — писатель и публицист марксистского толка, переводчик многих текстов Виктора Сержа на английский, крупный специалист по его творчеству и биографии, участник антивоенных, антиядерных, экологических, рабочих протестов в США и Европе. Статья представляет собой версию его предисловия к англоязычным сборникам стихотворений Сержа 1989 и 2015 годов и публикуется с товарищеского разрешения автора.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

За исключением четырех текстов в том же духе, написанных в Петрограде в 1920-28 и недавно в Париже, я собрал здесь стихотворения, написанные в России в период ссылки в Оренбурге: позже мне пришлось их переработать, потому что советский цензор не позволил мне взять с собой рукописи.

[1938]

*Моим товарищам по ссылке 1933-1936 —
Борису Эльцыну, Певзнеру, Черных, Беленькому, Быку,
Лаховицкому, Санталову, Лидии Сваловой,
Фаине Эпштейн,
левым коммунистам,
Нестерову и Егорычу, правым коммунистам,
без известий о том, живы они или мертвы,
но с уверенностью в том, что живые или мертвые,
сопротивляющиеся или замученные,
эти мужчины и женщины остаются,
среди разбившейся революции,
примером совершенной и пронизательной верности
революции подлинной.*

*Другой порвет тюрьмы воспоминанья
Другой разрушит ее зданья
Другой с наших плечей сотрет
Всю пыль и кровь, что с наших шей течет*

Пеги

ГРАНИЦА

Берега Урала,
леса понемногу серебреют, река подремывает на песке,
парит коршун,
пусть и гораздо ниже, чем истребитель,
беспечно выписывающий мертвые петли на золотой кайме
белых облаков,
а временами идущий краями
земной бездны, которая гораздо глубже бездны небесной.

Здесь заканчивается Европа, граница этого мира,
для которого Атлантика — не что иное, как внутреннее
море, а Атлантида — воспоминание.
Семь утра; восемь вечера на другом конце той, большей
Европы,
во Фриско, Сан-Франциско, на берегу Тихого океана, на
границе новой, еще большей войны,
во Фриско, где живут Индустриальные рабочие мира.
Что за глаза, повернутые на Азию, смотрят на тот Океан,
грустные как мои глаза, измеряя это осязаемое ничто
начала и конца континентов
молчанием другого человеческого лица?

Степь начинается с девственных долин,
с чистоты долин, плодородности и бескрайности долин,
с касания нагой земли,
поданной облакам.
Свободное притяжение сфер, пространства,
бег рыжих жеребцов к истоку истоков.

Кончаются покоренные поля,
встают песчаные дюны,
их жадно поглощает алое солнце,
о, жажда, вечность, пламя и кости!
Суета сует!

Киргиз, погонщик верблюдов, закончил петь,
неподвижно пылающее безумие песков,
миражи, — когда же покажутся звезды, и существуют ли они?
Наступит ли ещё хоть раз мягкость вечера,
прохлада ночи,
невероятная благодать стоячей воды
для погонщика верблюдов,
для шершавого собачьего языка,
для измученного верблюжьего рта?

Тишина поглощает пространство.

Первобытная глина кораллового цвета,
и солнце вбивает в нее ужасные красные гвозди,
и именно здесь видели странного багряного зверя на бегу,
которого земные муки гнали вперед.
И он необъятными боками закрывал горизонт.

(А знаете, земля страдает больше, чем ад —
ведь ад всегда был лишь безумным миражом
земных чад).

Когда охотник-узбек, мстя за овец,
заживо ловит волка, то связывает его,
и, напевая себе под нос,
аккуратно сдирает с него кожу,
так чтобы не повредить артерий;

содрав кожу, он отпускает волка в степь.
Здесь уверяют,
что если умело снять шкуру с волка,
то он сможет ещё долго бежать пустыней, в крови,
бежать, бежать к чудесному ручью в Каракумах,
к Млечному пути,
чтоб утолить невероятную жажду.

Этот мерцающий образ разрастается
в мираже
над ещё дымящейся лавой хаоса.
Глаза пастуха вправляют его на века в легенду,
эту легенду я творю на границе Азии,
на границе Европы,
чувствуя себя разорванным человеком Евразии.

УРАЛЬЦЫ

Зимой жители этих мест обогреваются кизяком,
который делают из коровьих лепешек, собранных в степи
и высушенных на солнце,
это древний удел женщины и скота.

Где-то прекрасные насмешницы давят ногами спелый
виноград
и слегка пьянеют от паров, но не знают, что у них здесь
сестры.

Огромные, огромные горизонты, чистые, далекие, светлые,
дрожащий жар покрывает нежные травы,
огромное, огромное забытое небо ослепляет так,
что уже ничего не видишь,
над всем этим худая Татьяна, с босыми ногами, медленно
кружится в теплом навозе,
и корова кружится на веревке, женщина и скотина в поту,
чужаки на горизонте.

Синеватые мухи жужжат вокруг них в зловонии,
дыхание животного, тяжелое, как плач.

Молодая женщина иногда замирает и напевает вполголоса
из глубин своей печали

о мужчине, который вернулся из далекой тюрьмы,
обнаружил любимую с другим и убил обоих одним ударом
топора —

ее голос надрывает душу:

«Отелло!»

а это просто плач Богдана-каторжника,
история, что произошла прошлой весной в соседней деревне,
а позапрошлой весной в другой деревне,
история на все времена:

«for in this world all men kill the thing they love»

«возлюбленных все убивают, так повелось в веках».

Пыль, пыль на Дездемоне,

Но нагая грудь — цветок жизни...

А вот рыбак в пруду,

он беднее последнего бедняка на сером пейзаже Пюви,

костлявый старик в сверкающей воде.

Забрался в воду голый, в одной короткой куртке и фетровой пастушьей шляпе и тянет сеть: «Ну, давай, давай, тяни тоже! Колька, ради Бога, тяни сильнее!»

Стройный голый мальчишка возится на том берегу.

Живые посеребренные запятые вдруг запрыгали в грязи у них под ногами.

«Лови, лови их, малой!»

Господи, нет ничего чудесного в этой рыбной ловле, Господи, чудо, что каждый может ей прокормиться!

Красный гранит проступает из-под рыжей глины, первые дни мироздания проступают в муке существованья, улица убегает прочь, утыканная шаткими ветхими домишками, похожими на старух, присевших под солнцем, она еле пристроилась между небом и бескрайней степью, по ней бредет киргиз, одинокий, ободранный, преследуемый угрюмым лаем собак,

воровать нечего, есть нечего паршивому бродяге! о том, что ты голоден, знают даже эти собаки...

Я встретил его черный взгляд из глубин веков, он прошел мимо, он прошлое.

А вот я за своим столом, недописанные страницы лежат на нем, напряженные,

они хотели жить, но уже чувствуют, будто потерялись,

я один перед этими твердыми страницами,

тревожно,

и на плечах как будто тонна свинца.

А как дела в Астурии?

За работу. Голый рыбак, тянущий свою сеть в пруду, не видел полоски неба, которые видел я.

Работать, чтоб, может быть, однажды прохожий сумел разглядеть в очертаниях, возникших в тот миг, когда и я

тащу свою сеть в пруду бессмысленных дней, полоски светлеющего неба, не заметные мне...

ОРЕНБУРГ, ЛЕТО 1935.

СТАРУХА

Старуха, несущая коромысло,
увешенное не пойми чем,
её тень как плохо начирканная лошадь,
несчастливая кляча,
голова висит как на проволоке.

Древние спорили, наделены ли такие существа
бессмертной душой.
Бездушные доктора
обдумывали этот вопрос серьёзно.

Сегодня лживые человеколюбцы
и прочие
лирически называют тебя сестрой.
Старуха,
тебе невдомек эта комфортная ложь
за тысячи и тысячи льё
от твоих тяжелых, оцепенелых шагов
по черной земле.

Правда брызжет из-под ног
в твоей влажной,
пахнущей навозом
тени.

Тебя уже не спасти.
Подумать! Семьдесят лет,
слишком поздно.
А может быть, шестьсот семьдесят лет
холопства, а то и больше?
Слишком рано.

ГДЕ-ТО ТАМ

Полночь, я курю в сарае, под крышей, проржавевшей от снега.

Млечный путь сияет сквозь щели.

Вокруг сидящей на корточках старухи как будто бродят гигантскими тенями старые слуги, холопы, которых били и продавали...

У неё сильные и цепкие руки, которые в темноте работают над пустынной белизной, сурово, настойчиво, испокон веков, кроша понемногу мел, который она будет замешивать на рассвете.

Гранит слегка вздрагивает от глухих щелчков, может, бьётся старое истощённое сердце этой земли?

Я говорю громко, меж долгими затишьями, слова, почти лишённые смысла, чтоб заполнить пустоту меж нами, старуха, пустоту обличий, говорю шепотом о том, что поражает меня, но тебе это непонятно.

Если бы пояс Ориона вдруг упал на землю дождем раскаленных звезд, разве ты не подумала бы, что пришел конец света?

«Господи, помилуй наши пашни!

Все эти падающие звезды — для людей одно горе!»

Где-то там, старуха, живут женщины — грациозные, надушенные, изнеженные, любящие, любимые; они никогда не узнают ничего о твоей боли, о твоём голоде, об этих сумерках, в которых ты корпишь, —

там элегантные мужчины, которые беседуют с ними,
интеллигентно взмахивая руками,
об эдиповом комплексе, об эстетическом чувстве, о сознании
и даже о пролетариате;
сегодня вечером где-то там счастливая Ангелита —
«Керида Ангелита, амига миа, танто керида!»
«Милая, милая Ангелита, дорогая, любимая моя!»

Где-то там...

Старуха отвечает мне сиплым голосом, испорченным
малярией,
что невозможно найти хороший рыхлый мел, как бывало,
что Сакмара выйдет из берегов и зальёт поля,
что жить тяжело, всегда было тяжело — «И не знаешь,
сколько ещё терпеть эту жизнь».

И ее руки
работают, работают, работают
до бесконечности.

ЧЕТЫРЕ ДЕВЧОНКИ

Они входят в воду, чтобы перебраться через Урал,
в блестящую, искристую, целебную воду,
четыре веселых девчонки.

Вода хватает за крепкие икры этих путешественниц из
пристепья,

спокойная, ласковая рука берет их за колени,

потом веселый холодок

охватывает ноги, поднимается, слегка касается тайной
плоти,

из-за чего короткий резкий смешок вздрагивает на их
губах,

смешок

со вкусом кислого фрукта

во рту жаждущего.

У одной под красным ситцевым платьем проступает юное
тело,

как набросок Афины Победительницы со слегка заостренной
грудью.

У нее волосы подрезаны на затылке, высокий лоб, она
вытянула вперед руки,

кисть держит горизонтально, у нее, девственницы, уже
крепкие работающие руки,

и она будто указывает на вершину,

на остров,

на город,

на другую сторону земли, где только *мир таинственной
мечты,*

неги, ласк, любви и красоты,

а на самом деле — просто на липу, шумящую гнездами
на том берегу.

Узнает ли она, только-только и не до конца освобожденная
крепостная,

узнает ли она, как назвать красоту, она,

так ясно видящая тихий пейзаж,
юным и живым сердцем которого
сама оказалась сейчас?

У второй приземистая фигура, плечи шестнадцатилетней
напоминают изящную звериную угловатость,
цветастые шали, меха под тентом из звериных шкур.

У нее, должно быть, маленькие карие глаза без век и
бровей,

белые, близко посаженные зубы выдают хищную породу,
плоское лицо кажется плотным и жестким, скулы округлы.

У лучников хана Кулагу в 13 веке были такие же, как у
этого ребенка, скулы,

зубы, карие глаза и сдержанная улыбка,

когда они переходили реку в обратном направлении,
победители.

За этими — ещё две: хохочут, спотыкаясь друг о дружку,
сестры, приятельницы, подружки — я не вижу их лиц.

Их тени зыбятся среди зеленых отражений листвы.

О каком гулянье, какой любви, каком желании, каком
удовольствии говорят они, позвякивая как колокольчики?

Да ни о каком: смеются

просто потому, что хороший день.

Я больше не увижу их, разве что разгляжу в других,

не признаю, если увижу однажды вечером

танцующими под духовой оркестр.

Да, они не красавицы, в них нет никакого особого очарования,

не больше гения, чем в распустившемся цветке,

не больше гордости

не больше доброты

(а нужно ли больше?)

Эти четыре девчонки — одни из многих, они такие как все,

четыре человеческие фигурки, слепленные на мгновение,

выхваченные из общей судьбы, возвращенные ей,

как любимому.

Я знаю, что они не получают обещанной радости,
их не ждет счастье на другом берегу реки,
мир не повернется к ним иной своей стороной,
их ждет будущее цвета однотонных долин.

Они уже далеко, почти пропали из вида,
где эти четыре хохотуны, только что бывшие здесь?

Они на другом берегу, четыре настоящих девчонки,
из деревни, в которой живу я, ссыльный,
и их образ во мне еще не исчез.

ЗАДЫХАЮЩИЙСЯ

Зеленые кусты, на которых огромные цветы,
возле крыльца маленького хирургического госпиталя
из серых досок
спят эти цветы,
пахнущие хлороформом.

Медсестра в белом сидит на ступеньках,
штанка с широкими глазами равнин,
лушит зубами семечки подсолнуха.

Больной скрючился на земле, в обвисшей рубашке
вздрагивает его тело
бездельного мученика, он вытягивает костлявую шею;
лицо невозможно серо,
как утопленник, которого жестоко топили, жестоко лечили,
потом жестоко прогнали,
это лицо удушья, лицо ужаса
последних дней,
отверстия глаз, в которых полная невозможность
воскрешения.

Хриплым дыханием он отпугивает жужжащих мух,
я вижу, как вены пульсируют у него на шее.
Его глаза не от мира сего кричат мне о том, что больше
нет воздуха:

«Гражданин! Куда они дели весь воздух, а?»

К задыхающемуся подходят две девушки с торчащими
грудями.

Одна в матроске, и у неё оголенная рука, на руке
татуировка: якорь и имя жениха,
у другой — короткая стрижка и чувственные розовые ноздри,

она говорит подружке:

«Родная, да он не жилец. Жуть до чего страшная башка!»

И приобнимает подругу за худые плечи:

«Пойдем, Шарлотта!»

Летчик, спустившийся на заре с парашютом с седьмого неба, знающий, что есть воздух, в котором можно утонуть,

взорваться, воздух, сквозь который можно прорваться, одолеть хладнокровно километры воздуха и страха, погибнуть или добыть награду, паек первого класса, и это знание о небе, в котором лишь новое незнание о небесах, —

летчик не спускает с девушек глаз.

«Бедняге уже никто не поможет.

Бесполезно даже осматривать его. Пойдем, красотки».

Он хотел бы танцевать этим вечером в Липовом саду с той, у которой татуировка и чувственные розовые ноздри, он положил бы вдруг руки ей на соски:

«Эх, горячка, знаешь, я могу купить тебе шелковые чулки, ведь мы — счастливая поросль восходящего социализма».

Верующие говорят, ради тебя Иисус умер на кресте, что-то не заметно.

Спаситель не стал тебя спасать.

Лекторы в Союзе безбожников говорят, что революции делаются

для спасения тебя и таких, как ты.

Не заметно и этого,

но сколько же уверенности в этих важных людях, сколько здоровья.

Судя по твоим бумагам, ты сражался за свое спасение сам, вместе с Чапаевым, Фурмановым, с моим дружкой Митей, ссыльным пьяницей,

на Урале, высвеченном рассветами, —
но и это вам не удалось.

И ваша горячая кровь гражданских войн, и ярость ваших
сердец, партизаны,
всё оказалось бы забыто, бедняги, если бы не нашлись
бойкие авторы,
услужливые охотники за славой, охотники за деньгами,
и не превратили бы это в незабвенные сценарии и романы.

Медсестра догрызла семечки и ушла.
Задыхающийся теперь один — среди зеленой листвы,
света, красок, слепящей боли,
один во вселенной,
один в недоступной, безвоздушной лазури,
и его черный рот напрасно молит о воздухе.

Блестящие диски снижаются, восходят, взрываются,
и я здесь без дела в белом халате, глазные впадины в
золотой оправе —
и я один осознаю его смерть и его страдания,
и моё бессильное человеческое лицо — последнее в его
жизни,
и у меня для него нет ничего, кроме нелепого раскаяния.

Орeнбург, лето 1935.

ТИФЛИС

Курдские женщины в красных платьях, осленок, бредущий
улочкой возле Майдана,
немыслимые краски, их причудливый сон, их пробужденье
среди подвижных арабесок базара,
медные ожерелья на шеях девчонок-варварок, маленьких
татарок,
продающих спелый виноград и острый перец,
пар от кипятка, извергаемого подземной лавой
для бань Орбелиани, за три рубля очищенье.

Два коротконогих коренастых быка, выставив серые рога,
сквозь толпу, терпеливо и упрямо
тянут старую двухколёсную телегу времён Тамерлана.
Их ведет такой же коренастый упрямец, из Мингрели,
он точь-в-точь, как они, но поёт стихи Руставели.

Голубая мечеть Шах-Аббаса крыта сияющим фаянсом,
неизвестный узник шел бодрым шагом меж обнаженных
сабель,
а перед ним — невидимая надежда.
Пыль топтали его сандалии, как, наверное, раньше
по пенным морским вершинам шагали.

Из квадратных окон тюрьмы Метехи, этих ликов земли,
будто ближайших к небу,
могли видеть, как он выходил;
выходил, потом заходил.

Грузинские могилы монастыря Св. Давида на границе
присутствия и пустоты,
алебастр плит телесного цвета без конца обнажает
столько плотской свежести, что могилы доподлинно
подтверждают: существует вечная жизнь,
в которую имя, облик, боль и даже память навеки канут.

С вершины горы Давида я видел ледники Эльбруса, Казбека,
а дальше — ледянее, прозрачнее —
Арарат, Памир, Эверест, Анды, а дальше, ледянее,
прозрачнее,
над зелеными, тихо колышущимися полями ослепительные
вершины гор — реальных-реальных:
вот безымянные горы единственно нужных континентов —
о абсолютные пустыни, о плодородные континенты согласия
и отказа!

ОРЕНБУРГ, 1935.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ТИФЛИСЕ

Эх, зачем он пил вино Имерети,
человек с мешком денег, прибывший из Кутаиса,
с дряхлым сердцем, вытертым, как курдский ковер,
на котором так много торговали, мучились, танцевали,
топтали обещанья и вонзали кинжалы,
так убого любили, так тяжело спали?

Эх, зачем ему понравилась та, чья песня мучительная,
как всякая жизнь, лгала и, как всякая ночь, звала?

Он хотел припасть к звездным рекам,
о прохладный Млечный путь, Андромеда, Плеяды, Кассиопея!
Лететь к вам, быть лишь паденьем, теченьем, взрывом,
покоем,
но он упал всей тяжестью плоти, боли и надгробья
через узкое оконце, с высоты всего тридцать метров,
со слегка надрезанной аортой.

В глубине утопшего небосвода пенились
фосфоресцирующие воды,
омывали его раны, уносили тело, изничтоженное так
коварно.

Но с утра Тамары
полоскали бельё на берегах Куры,
у этих любовниц с детскими взорами были ловкие руки,
которые вода нежнее, чем любовь, ласкала;
Убитый упал в глубины их глаз, им показалось, они его
узнали,
и они поплакали о нем, не любя, а потом в землю положили,
улыбнулись живым и вскоре его забыли.

Орeнбург, 1935.

ИСТОРИЯ РОССИИ

I

Царь Алексей Михайлович,
тишайший, набожнейший,
мягчайший,
мыл руку всякий раз, когда ее целовал чужеземец.

Летопись сообщает, что этот добрый христианин постился три дня в неделю.

Что не помешало ему умереть от обжорства,
но предварительно, будучи кротким царем,
он распорядился о кое-каких казнях.

Его рисуют рыжебородым, ясноликим, гладколобым,
с ускользящим огоньком в лукавых глазах,
в остроконечной шляпе, отороченной белым мехом.

Он обожал жемчуг, парчу, исфаханские шелка,
золото, серебро, драгоценные камни;
он чествовал бедняков раз в году.

Добрые бедняки, пусть ваши язвы искупят его грехи —
дурные помыслы, похоть, чревоугодие
и несколько бессмысленных боен.

Видит Бог, большая их часть была учинена неспроста,
и я милостивый царь.

Добрые бедняки, даже если вы знаете, что он лжет,
пейте и ешьте досыта; если вашим язвам
не искупить грехов власть имущих,
тогда для чего они нужны?

Он выбрал себе жену среди красивейших девиц страны.
Интрига подкосила пред этим страшным женихом бледную
Офелию,
едва не задушенную собственными косами.

Отца ее сослали за то, что девица мучилась надеждой,
страхом и смертельной тоской.

Интрига свела его с чистосердечной Натальей,
которой было суждено выносить во чреве жестокосердного
Петра —

от неизвестного отца.

Алексей Михайлович был супругом и отцом лучшим, чем
великий царь Иван Васильевич Грозный
и чем его собственный названный сын

Петр Алексеевич Великий —

ведь он не убил собственными руками ни одного из своих
детей

и не замучил ни одну из жен.

Да, он ссылал фаворитов, но разве это было не в порядке
вещей?

Да, он сослал неподкупного патриарха и непоколебимого
ересиарха, но разве он это сделал без любви?

Да, он сжигал еретиков в северных лесах,
но разве не от любви?

Отдадим ему должное, мудрому политику,
наученному мятежом,
прозорливому монарху, который тайно, один на один
со страхом,
открыл то, на чем крепко держится власть:

страх, донос, предательство, слезка,
умеренная пытка дыбой,
изгнание, ссылка на север,
на край земли,
он сумел построить на мутной жиже людских сердец
Приказ тайных дел,
образцовое учреждение, в сущности, Священную службу!

Спору нет, денежные дела,
искусно дополненные повешениями,

шли у него плохо —
не обходилось без фальшивомонетничества,
инфляции, банкротства и тому подобного,
но разве все великие государи, помазанники божьи,
не были великими фальшивомонетчиками?

Одним словом, чтоб прослыть монархом первой величины
ему не хватило лишь чуть большей смекалки,
чуть лучшей обслуги,
чуть большей злости
и чуть меньшей нужды в деньгах.

II. СТЕНЬКА РАЗИН

В те же времена жил и правил убойнейшей силой резни,
меча и огня другой царь, разбойничий.
Вдоль всей Волги, матери нашей,
он зажигал огни дикой вольницы, ощетинившейся серпами,
виселицами и отрубленными головами.

Свобода, равенство, братство,
назовите плоды горчайшей надежды.
Смывайте, смывайте с ножей, с сабель
кровь, лившуюся испокон веков.
Стенька Справедливый умел обращаться с господами
так же, как господа обращаются с рабами.
И считал, что не родится человек достойнее его.
Вечерами молодые казачки в деревне до сих поют
под гитару
Плач по Стеньке Разину, но то, что творили их отцы
и дядья, прямо здесь, всего-то шестнадцать лет назад,
они забыли, давайте и мы забудем, пусть гитара и пение
принесут забвение,
Пусть от этих звуков сердца
Забвением переполнятся.

Серебряный месяц восходит в июльском небе
Над маленьким красным минаретом Оренполада.
Я слышу, как девчонки тонкими голосами поют
и на гитаре бренчат
и как лягушки в пруду трещат.
Рассеянно думаю, одиноко вперившись в степь,
О тех людях по всему миру, от которых я нисколько
не отделен,
О безработных Амстердама, о Томе Муни, сидящем
в калифорнийской тюрьме пятнадцать или восемнадцать лет,
что мы знаем об этом?

Кто может знать подлинный счет этим годам?
О потрясающей победе всеобщей забастовки в Сарагосе
вчера,
В июне 1934,
О будущем съезде Объединенной федерации учителей,
О свежей могиле — но есть ли на ней цветы, есть ли?
О свежей могиле Коломана Валлиша,
О зарешеченном окне — но есть ли на нём цветы, есть ли?
О его жене Пауле в австрийской тюрьме.

Юные голоса звучат, не зная, о чем поют,
Не зная живых и мертвых, для которых поют,
сквозь время, цепи, пространство.
И когда они возвещают о прибытии на далекие речные
берега
Расписных челнов Степана-Разбойника,
Предводителя,
Героя, палача, палача палачей,
Освободителя,
Я вижу, как проступает на рябых водах
животворящая тень
Варварской, упившейся слезами свободы.

Стенька был колесован 6 июня 1670 года
Возле Кремля,
Перед собором Василия Блаженного
и Спасской башней.

Когда Стеньке ломали кости, он рявкнул на своего трусливо
причитавшего брата:
«Молчи, собака!»
Таковыми были его последние слова, гордые, единственные
слова под топором.
Они пробились сквозь боль разломанных костей,
правой руки, левой ноги.
Стекли с губ, смешанные с кровавой слюной,

народ хватал их в тошнотворном воздухе
подле эшафота.
История сохранит их, как слова Христа.

Но собаки не трусливые звери.
Они отменно хранят свое собачье достоинство
В этой сучьей жизни,
А мы веками дрессируем их по своему подобию.

Молчи, трусливый братец!
Глядя на муки тех, кто сильнее тебя, лучше тебя,
кто, умирая за тебя, умирает больше тебя.

ОрЕНБУРГ, июль 1934.

III. ПРИЗНАНИЯ

Мы никогда не были собой,
у наших жизней — не наши лица,
голоса, которые вам слышны, голоса, так громко звучавшие
сквозь бурю —
эти голоса чужие,
всё, что вы видите, — неправда,
всё, что мы сделали, — неправда,
мы совершенно другие.

Мы никогда не имели собственных мыслей,
ни собственной веры не было у нас,
ни собственных чаяний,
теперь у нас одна правда — отчаяние,
мы признаемся в безумном вырождении,
мы падаем в черное зияние,
где веру предают и обретают в последний раз.

У нас нет ни имен, ни лиц, ни силы, ни прошлого,
потому что всё кончено.
Нас больше быть не должно,
потому что всё опустошено.
Это мы виновные, мы не прощены, мы самые ничтожные,
самые сломленные, это мы, мы, знайте,
— и будьте искуплены!

Верьте нашим признаниям, примите нашу клятву
полного подчинения; презирайте все наши отпирательства.
Старый угасший бунт теперь не больше, чем подчинение.

Пусть гордятся те, кто меньше вложил.
Пусть гордятся те, кто себя простил.
Пусть гордятся те, кто больше вложил,
Пусть гордятся те, кто не изменил.

И если мы поднимали народы и потрясали континенты,
убивали грандов, уничтожали старые армии, старые города,
старые идеи,
начинали все заново на этих старых грязных камнях,
этими усталыми руками, с теми остатками души, которые
есть у нас,
то не для того, чтобы торговаться с тобой сейчас,
печальная революция, наша мать, наше дитя, наша плоть,
наш обезглавленный рассвет, наша ночь, усыпанная
звездами,
с ее непостижимым, разорванным Млечным Путем.

Если ты предаешь себя, что нам делать, если не предать
заодно с тобой и себя?
Как умереть, прожив эту жизнь, разве что, предавая,
умереть за тебя?

Что мы могли бы сделать, кроме как встать на колени перед
тобой
в этом позоре и этой тоске,
раз, служа тебе, мы навлекли такую тьму на тебя?

Если другие найдут в твоём сердце, пронзенном тысячу раз,
возможность жить дальше и сопротивляться тебе,
чтобы спасти тебя через 20 лет,
через сто лет,
мы благословляем их, мы, никогда не верившие
в благодать,
мы благословляем их в наших потаенных сердцах,
мы, не способные уже ни на что.

Мы уже не принадлежим будущему, мы принадлежим
полностью этим временам,
они кровавы и подлы в своей любви к людям,
мы кровавы и подлы, как люди этих времен.
Топчите нас, клеймите нас, наплюйте на нас,

изблуйте нас,
истребите нас,
наша любовь сильнее этого унижения,
этого страдания,
этого истребления,
ваши несправедливые уста справедливы, ваши уста это наши
уста,
мы — в вас,
ваши пули это наши пули, и наша агония, наша смерть,
наш позор — ваши,
а ваша огромная жизнь в этих полях, паханных столетиями,
навсегда наша!

Париж, 12 октября 1938.

ЛОДКА НА УРАЛЕ

Шестеро в лодке —
пятеро и еще одна.
Угадай, кто глух, слеп,
потерян, затерян,
без ума от молчания,
и чья душа танцует бойчей,
чем его страдания,
появления, исчезания,
улыбки на глубине,
решетки на бледном небе...

Люди поют, чтоб обмануть ночь,
когда пьяны.

Мы люди стойкие,
скорее трезвы, чем пьяны.
Споем же. — *Волга, Волга,
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...*

Тихо колышется река —
красные скалы, степи, леса,
о чем плачут наши голоса,
о чем они гудят,
какие песни в наших сердцах?

*Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Эй, эй,
то бурлаки идут бечевою*

бечева на шее.
Пой, Алексей, твой черед,
старый бунтарь
с физиономией кули,
жизнь тяжела.

Греби, Василий, греби,
ну, поднажмем, мы ж братья
в поражении и нужде —
но поражение наше
возвышенной и важней,
чем их победа, победа-ложь.
Хорошо идти вверх по рекам,
пока спину не надорвешь.
Будем держаться, сколько есть сил.

Кого хочешь поцелуй...

Яков облизывает тонкие губы
как мудрый иудей, которому жить долго.
Борис с профилем тощего волка
пьет и не пьет грусть ночи.
Ты так надежен, старик,
что будем делать, коль пропадешь?

*Пока живой,
еще по одной...*

Цыганка или египтянка
вкушает потайную радость
(где же тезис, антитезис,
где любовь, божественный синтез?)
и погружает руки в воду —
против течения.

Вчера одиннадцать и двадцать шесть
упали с неба, насмерть оглушенные.
Чужая смерть, как ты легка!
Чужая радость как горька!

Где воды буйные,
буйные, как ты?

Тихонько продолжает хор —
нет! во всю мощь в этот пустынный вечер,
в этот вечер без борьбы и без надежды,
во всю мощь, в последний раз:

*Это ветер строит баррикады,
на брусчатке отблески пожарищ,
перед всем народом мы, товарищ...*

Ночь опускается, причаливает лодка,
мы больше не поем.
И снова зажигает ссылка
плененные огни
на берегу времен.

О одиночества, вот мы
стоим, свободны и покорны,
тому, что совершают люди
наших времен, верны.

Оренибург, 20 мая 1935.

(Лодочная прогулка с шестью ссыльными коммунистами)

ТЕТ-А-ТЕТ

Я вменяем, но, бывает, чувствую, что схожу с ума,
в заключении психиатра об этом ничего нет, и специалисты
сказали бы: «Как ни смешно, вы вроде бы в норме,
это идеи,
отдохните немного, дружок, немного передохните,
И повторяйте тихонько вечером, перед сном, что все хорошо,
что все очень хорошо,
тридцать три раза» —
и пока эти специалисты дружелюбно разговаривают со мной,
жалость поднимается во мне, как прибой,
потому что я знаю: они безумны.

Я вменяем, и только совсем чокнутые встретили бы меня,
как брата,
с их уверенным смехом,
звучавшим в начале мироздания.

Ты, которую они привечали, призрак себя самой,
я вижу, как изменяется твоё лицо, наверное, вспоминаешь
о преступлении,
озаряясь снизу негасимым светом,
моя подруга, мой враг, свой собственный враг,
но это ты — жертва и твоя ненависть — твоя кара.

Мои глаза — вправленные в плоть камни,
и эти камни саднят тебя,
они тебя ранят, камни,
ведь ты думаешь, что мои глаза обнажают тебя и судят,
но это ты меня судишь, безжалостная моя бедняжка,
и это я стою обнаженный.

Я чувствую, как в тебе рождаются гроза и ярость, никто
не скажет, откуда берется, как появляется, нарушая

границы человеческого,
нечеловеческий
этот безумный шквал, в котором ты лишь жгучая тень,
а я только маска — маска на надгробии.

Время не так тяжело, как опустошенная маска.

Когда же твои черты смягчаются и светлеют, о, хоть живая!
ты говоришь: «Ах, я бы хотела покоя...», и в этом великом
слове *покой* уже есть мягкие волны на заре
под зарождающейся невинной листвою,
приветствие, присутствие, свершение,
в нем есть то, чего нет, то, чего *никогда* не будет.
(Мы знаем это так хорошо, ты и я, вот и всё:
мои силы всегда для смерти напряжены,
твоё поражение всегда питается само собой).

Неверно говорить, что идеи помешанных неразумны лишь
потому что они выходят за рамки наших мелких
обоснований нелепых действий,
наших здравых обоснований слепоты, дремоты, довольства,
необоснованных обоснований бегства от подлинного ужаса.

Старик Зигмунд Фрейд объясняет это в бреду:
У эдипова комплекса голова Горгоны.
Старик Скарданелли отвечает старику Зигмунду:
Таков человек и таково великолепие жизни.

ОрЕНБУРГ, 1935

Под конец жизни Гельдерлин, страдавший шизофренией, подписывал свои стихи именем Скарданелли и датировал их столетием раньше.

ДИАЛЕКТИКА

Мы родились
в эпоху первых усовершенствованных пулеметов;
Они ждали нас, готовые полностью изрешетить
стальную броню и мозги, наполненные духовностью...

Не сомневайтесь: с тех пор, как мы занялись
ремеслом жертв, полных злой воли,
— то есть почти с начала времен —
мы умеем глотать любое горькое пойло,
желчь, цикуту — она теперь не в ходу — стакан рома
перед гильотиной...

Ямайский ром, нектар тропиков,
будь сладок для того смертельно бледного бедолаги,
который искупает преступления чужие
и наши,
и влей нам в уста горьковатой влаги,
которую цедают его уста за мир для лучших из лучших.

Мы умеем носить любые кресты, кресты из дерева
и свастичные кресты,
на низенькую Голгофу зайдет в два счета
наша шайка — воры и иисусы христы.
Страха не знаем.
Ессе homo из рабочих масс
и интеллигентов на любой заказ!

И если снова встанет стена отчаянных коммунаров, —
зовите нас!

Конечно, что-то здесь не по нам, но раз уж вино налито,
выпьем до дна!
Ура Коммуне, салют всему миру,

да здоровствует человечество!
Элитные убийцы, офицерские чины, эй, версальцы!
Осторожнее, сеньор капитан, на последней ступени
последнего погребка:
мой чек оплачен ЧК.

II

Это и есть предводители армий, великие буржуа, великие
палачи?

Герои битв в Полесье, на Воляни, в Карпатах?

Это и есть генералы, эти дрожащие старцы на четвереньках,
с плаксивыми, влажными глазами, слабыми сердцами?

Это и есть рыцари св. Георгия и св. Андрея?

Тогда прочь, эй, святой Убиенный Капиталист,
теперь твой черед.

А мне все равно, что вы не знаете
о деяниях маркиза де Галифе.

Я тоже ничего не знаю, я простой горный мастер из Горловки
и не читал книг.

Но есть кто-то важнее нас, и он ничего не забыл.

III

Они умирают в болотах Чернавки

по приказу ревкома

под шашками слесарей с Таганки, шахтеров из Каштанки
и анархиста, исходящего кровью по смерти своей мечты.

Они умирают точь-в-точь, как 2 сентября 1792 года
в тюрьме Аббатства умирали месье Монморен,
Сомбрель и Рюльер, господа из Королевского совета...

Нож, входя в глотку, издавал глуховатый звук,

звук безумный

и тошнотворный,

шум толпы, шум волны, зловещий

и иступленный.

Распорядитель Майар заглядывал в большой журнал.
«В тюрьму ля Форс!», отирал лоб тыльной стороной
серой руки.

Ух, какое нужно здоровье на службе Первой республики!
На закате гражданин Билло пришел, чтобы обратиться
к убойщикам.

«Санкюлоты! Брут, Цинна, анналы Рима,
революция будет жить в грядущих веках,
Коммуна посылает вам бочку хорошего вина».

IV

- Смотрите, сказал молодой, изрытый рыжими пятнами
пропагандист,
- как повторяет себя материалистическая история.

V

Вы так хорошо обучили нас ему, грязному ремеслу
сильнейших,

что мы в итоге превзойдем вас.

Вот что будет у нас — сердца стучащие, лбы звенящие,
глаза, полные картин ужасных, как сожаление...

И пусть потом нас зароят, пусть потом нас забудут,
пусть ничего такого больше не будет, и пусть земля
расцветёт...

Вперед же! Вперед, вперед!

КРЕПИСЬ (Фрагмент)

Ни одно новое слово не прорастает для тебя, товарищ,
твоя задача неразрешима,
она из железобетона, твоя задача, у нее стальной остов,
а мы затиснуты внутрь.

Давайте крепиться, будем крепки, как цепи,
со временем плоть перетрет цепи,
со временем разум расколет их,
со временем и, конечно, с бикфордовым шнуром,
и с точнейшим часовым устройством
механизмов, которые по ошибке называют адскими, —
хотя есть другие, гораздо более адские —
нам потребуется время, тела, ум, техника,
они нам потребуются, это точно:

давайте крепиться для будущих времен.

(И вы! Будьте крепки, когда мы уйдём! И передавайте наказ
до конца времен!)

СОЗВЕЗДИЕ МЕРТВЫХ БРАТЬЕВ

Андре, убитый в Риге,
Дарио, убитый в Испании,
Борис, чьи раны я бинтовал,
Борис, чьи глаза прикрывал.

Давид, мой милый сосед по комнате,
Давид, ты, сам не зная за что,
во французском тихом саду
умирал в изумленной муке:
в двадцатилетней груди — шесть пуль...

Карл, чьи ногти я опознал,
когда вы почти уже стали землей,
вы, с большим вдохновенным лбом,
эх, что сделала с вами смерть!
С черной, крепкой человеческой лозой.

Север, на океане шторм
опрокинул барку; бледны
четверо: ужас глотают взхлеб...
Прощай, Париж, прощайте, друзья!
Прощай, жизнь, прощай, черт тебя возьми!

Василий, в наши белые ночи
в вас билось сердце бойца Шанхая,
и ветер стирает вашу могилу
в кукурузных полях Армавира.

Гонконг освещен, небоскребов час,
пальма похожа на ятаган,
площадь — на могильный курган.
душный вечер, и ты, Нгуен,
чахнувший на тюремной койке.

И вы, обезглавленные мои братья,
потерявшиеся, непощенные,
истребленные — Рене, Раймон —
виноватые, но не сдавшиеся.

О, звездный дождь во тьме,
созвездие мертвых братьев!

Я обязан вам черной своей тишиной,
своим упорством, своим приятием
всех этих опустевших дней,
и тем, что осталось еще от моей
гордости за костер в пустыне.

Так пусть немота низойдет теперь же
на истуканов в голове судна!
Мы плывем вперед безрассудно,
курс по доброй надежде...

Когда твоя очередь? А моя?

Курс по доброй надежде.

МАКС

Макс,
ты погиб в двадцать три,
погиб, не познав ни мирного труда,
ни любви.

Тебя, Макс,
твоя юность обрела.
Она лежала на твоих плечах, как крест
в европейских тюрьмах,
в городах.

Ты юностью своей был обречен
на эту смерть солдата —
ведь человеческая вся весна
была тогда обречена.
Как они мстили
за твою судьбу рабочего
тюрьмой и голодом,
клещами,
впивавшимися в сердце,
в плоть,
когда безвестные и хмурые,
унылые, трусливые, опустошенные
нас охраняли за колючей проволокой
и в грязных тюрьмах?

Как мы там умирали, брат!
С тоской в сердцах, с пустыми животами,
вши грызли тело, ненависть
в мозгу вихрилась,
вихрилась, как всегда,
вихрилась без конца,
сводя с ума и придавая силы.

Но ты остался как ребенок,
ещё добрей и чище,
в тебе ребячье торжество сквозило,
и ты любил, издалека, отсюда,
великие страдания ради великой
мечты,
великий натиск, начатый
разбитыми коммунарами.

В морском соленом бризе
в тебе надежда расцветала
все утро и весь вечер.
Так славно и так горько было.

Потом все дни восстания,
все долгие дни голода,
все долгие дни битвы,
ты нес в себе печаль
и муку
обреченной юности.

Ты мучился от горя,
что не нашел на небесах
своей несчастной родины
звезду, мелькнувшую над морем.

(Нам предстоит ее завоевать,
нам предстоит её создать
своими же руками,
своей жизнью,
своей смертью,
твоей смертью...)

Тот город, где холодные дворцы,
где голодала революция, —
где люди серые с оружием,

и девушки на тротуарах,
и все солдаты отъезжающие,
и женщины рыдающие
на вокзалах —
так мучился в тебе
раненый город.

И в этом твоя жизнь была.
А в наших искалеченных победах —
твоя вера.
Макс, было нужно,
чтоб юность твою в жертву принесли
среди других.

Все молодые сломанные крылья,
весь героизм загубленный
нужны тому, что родилось.
Макс, чтобы сок струился
по кронам молодых берез,
чтобы зерно пробилось,
для будущего торжества идей,
для будущего восхождения людей
смерть тысяч молодых была нужна.

Чтоб победили пролетарские республики,
пришли построить — на могилах —
новый мир,
и смерть твоя — смерть анонимная,
отверженная,
смерть без любви,
твоя заброшенная смерть,
твоя смерть, Макс,
конечно же, была нужна —
на той больничной койке,
со всеми судорогами, —
что за гигантское крушение
всего, что в тебе было?

Макс, это было нужно —
и твой последний взгляд с укором
и возбужденные вопросы
к живым и равнодушным,
когда последняя испарина омыла
твой бедный лоб без ореола.

И вот ты мертв, как и другие:

простите, что мы выжили.

ПЕТРОГРАД, 1921.

ГОРОД

Пепел, золото,
снег, лед, гранит
на металле и (размозжённой)
плоти.

Твои соборы — снежные горы,
твоё устье — ледяное поле.
Измученный холодом твой гранит
реку прочно хранит.

Твоя река — хрусталь под толщей снегов,
но под этой рекой, во тьме, другая река
несет потаённые воды Севера в океан.

Архитекторы выверили до последней черты
твои колоннады и прямые углы, каждый выступ.
Мертвый город, ты идеал будущих туристов.

На твоих площадях всадники, вылитые из бронзы,
увекочивают любимые кинематографистами
древние деспотичные позы.

Поэты жили угрюмо
среди твоих побежденных.

Инженеров, деспотов и поэтов —
своих жителей без прав и без радости
ты взрастил,
возвеличил,
понял,
предал
и свел в могилу
чистейшими зимами,
под чистейшим снегом.

Город, город, огромный город,
неподвижный огромный город,
я знаю точно — огонь
пожирает тебя под снегом.
В глубине твоих северных огромных небес,
в глубине огромных глаз твоих мертвецов
Полярная Звезда, стальная,
источает высокий блеск.

Город, город, огромный город,
золотые шпили, купола и гранит —
плыви, плыви к Полюсу, путь открыт.

Вся жизнь под гранитом,
и весь огонь подо льдом.

Ты не кладбище,
ты громадный корабль,
сейчас отправишься
встречать зарю или гибель.

Вернуться нельзя,
город, город, пора отчаливать.

ПЕТРОГРАД, 1920.

26 АВГУСТА 1928 ГОДА

Я бегал по городу, читал газеты,
видел людей в конторах;
мне кто-то лгал, и я лгал в ответ, —
мы усмехались, и мне платили
за пустой труд мозга.

Я приветствовал мертвого. Капал дождь
на красный гроб по сходной цене.
И пьяные пели.

Ты ещё жил.

Нужно крепиться, нужно быть сильным,
чтобы все могло продолжаться,
и все продолжится,
но как тяжело держаться.

И всё всегда понимать!

Входит в мои глаза
безмятежность летнего вечера,
без нее невмочь.
— Поезд остановился, и была ночь,
Середина ночи.

Детское село, листопад за окнами,
спящий дом,
два дыханья сплелись,
электричество,

нелепая скорбь, которую прогоняли,
нервы, усталость, мы себе волю дали.

И конец всему, несколько строк,
час ночи, её середина,

— я продолжу —
твоей смерти час.

Товарищ и брат, прошлой ночью убили тебя
как раз в это время.

Прозрачная ночь обнимала степь,
звездопад в полях кукурузы.
Тебя напугали гигантские черные
раны небес.

Дорога в Курганную,
Армавирский район,
Кубанская область,
земля красной пшеницы,
26 августа
28 года.

Прощай, все кончено, мир, братья, долины,
глаза,
снег, города, звёзды,
Интернационал,
прощай, вот нелепость, за что, за что,
мы ведь все люди,
я не хочу...

Ужас без края.
Обрезанный ствол,
деформированная пуля,
пробитое сердце, расколотый лоб,
приклад тяжел,
смерть легка.
Тишина.

Брат, сошла твоя мысль
в черную рану небес.

26-30 АВГУСТА 1928.

СМЕРТЬ ПАНАИТ ИСТРАТИ

Конец Средиземноморью, конец Парижу, конец,
конец углу в Александрии, где ты чуть не умер от голода,
холеры,
отчаяния,
разве мы знаем, от чего подышаем?

Конец — авантюрам, темным губам, золотым глазам,
в глубине притонов, в портах,
в глубине ночей.

Конец — полным горя
и дурмана
искушениям моря.
«Андрос» идет в Пирей.
«Санта-Мерседес» в Бриндизи, в Индию,
в Индонезию,
а ты остаешься, в нетерпении, в печали и без гроша
на краю гостиничной койки, где темные косы спадают
на грудь, чей лунный свет твои ладони ласкают...
Ты ругаешь и любишь её, вот глупость, вашу поэму,
Анжелику и Женевьеву, маленькую милую распутную
девку...

Конец — женщинам, невинным, согласным, кающимся,
преданным, покинутым,
прощенным
и так невинно любимым! — Как соблазнительны официантки
в трактире "У Соленого озера"...

Конец — наперченным блюдам и грубоватому красному вину,
которое ты пил со сбродом, рассказывая добрые байки...
Но, возможно, это были достойные люди,
возможно, это были святые,

твои дружки
в маленьком кафе в Брэиле,
где под вывеской «Парадиз»
лихие ребята при деньгах
занимаются контрабандой.

«Ни один, понимаешь, ни один
не бросил другого в западне.
Это ж не писатели».

Конец — книгам, которыми восхищаемся,
как ребёнок восхищается прекрасными камнями,
найденными на берегу моря,
вынесенными со дна моря...

Конец — книгам, которые пишем...
Господи! Тома! Людям, которые ничего не написали, не
понять, каково это и как это может осточертеть!

Страницы проданные, страницы потерянные, правда,
ошибка,
кучи большого и маленького вранья, все эти слова,
в которых — ловушки, плутовство, колдовство —
и легенда!
Жалкие страницы, которых стыдишься,
и те, которые так и не извлёк из головы...
Страницы утомительные, ошеломляющие, изнурительные
и вдруг оживающие —
где выгибается Неранцула, красивее, благороднее
и жизнерадостнее, чем в самой жизни —
где ступает Неранцула, покачивая бёдрами,
и ныряет в Дунай под открытым небом,
О, белая пловчиха, возлюбленная вод...

Сердце сердец человеческих, которое выплевываем в работу.
Разве она еще продается, вся эта изданная Ридером бумага?

Конец оскорблениям.

Для тебя их было не жалко.

Они были сыты тем, что пичкали тебя ими до самой смерти и даже после.

И многие

благодаря тебе питались лучше тебя.

Они говорили, что ты предал, что ты продался, мой бедный друг!

Ты, сама верность, продал всех этих торговцев словами!

Ты, сама непродажность (да и нечего тебе было продать), был продан!

Ты лежал на газетных вырезках, как Иов в пепле и навозе, медленно сплевывая остатки легких в морды этих писак,

благословляющих прибыльные убийства, продающих загубленные революции...

Конец: даже желание умереть прошло,

когда в этой долине рекламных слез одни негодяи.

Ведь ты, было дело, не смог покончить с собой, потому что так сильно любил землю.

У тебя тогда появился шрам поперек сонной артерии, и стало сложно носить ложные воротнички.

Твои последние недописанные страницы улетают, как стая голубей,

тьма и прах, возвращайтесь во тьму, возвращайтесь во прах — ты хотел бы зарыдать, но это невозможно, ничего себе, зарыдать, смеетесь!

Ты оступаешься, горячая брусчатка уходит из-под ног, «Держите меня, милые!». Держите его, милые, держите, так ослепительно небо, эх, какая тоска!

Ты проходишь меж двух богинь, они ободряют тебя, уносят тебя прочь, утешительницы:

одиночество, дружба.

Никогда больше не увижу тебя ходящим из комнаты в комнату
в черной меланхолии
с чашкой черного кофе.

Никогда больше не уйму твоё злое буйство.

Никогда больше не увижу твои жилистые балканские руки,
твой большой рот, полный золотых зубов,
твой нос нюхача, твои глаза старого хитрого ребёнка,
циника меж проныр...

И мы никогда больше не поедим в Прованс, с тюками за
спиной, фотографироваться, как будто нам двадцать,
самой красивой девчонке и безумцу, невесте и анархисту —
бесплатно...

Это были славные времена.

Я так часто вдыхал ночь, думая о тебе,
что в этот вечер, в этой пустыне, чувствую себя ближе к тебе,
чем к живым.

Те же ветра гуляют над моей степью и над твоим Бараганом,
те же ураганы...

Большая Медведица мерцает в окне: а за домом лежит
равнина, такая огромная и нагая, что, кажется, это край
земли,

и молодая женщина спит здесь, измотанная трудом
и умиротворенная своим даром.

Свежая печаль о твоей смерти
терзает и умиротворяет меня.

Всё это твоя могила, и она станет моей, она уже наша —
могила нашей непрерывной жизни.

Я вслушиваюсь вместо тебя
в лучезарную тишину,
окутывающую крик.

ОРЕНБУРГ, 1935.

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ИМЯ?

На кладбище Коктебеля («Край синих гор»)
только камни на татарских могилах,
и нет ни надписей, ничего.

Зачем писать имя, если человека больше нет?
Для нас? Думаете, мы сможем его забыть?
Для Господа? Господь его знает целую вечность.

Просто эти мудрые люди не ведают об администрации,
о доходных делишках и тридцатилетних концессиях,
о буржуазной радости от покупки роскошного
склепа — по цене большего,
чем судьба бедняка или дом рабочего.

КАССИОПЕЯ

Вы сказали мне, Оксана, что он умер сегодня утром,
вопреки вам,
вашей молодости, вашей красоте, вашей жалости, вашим
рукам,
вашим заботам,
вы сказали, что скорбите о смерти этого незнакомца,
без имени, без возраста, без лица,
похожего издали на распинаемого Христа, но ещё более
нагого,
годами попивавшего маленькими глотками из чашки
среди температурных листков и приказов о запретах.
— Эх, если бы я могла сделать ему последние уколы, —
сказали вы,
— Но у меня было дежурство с одиннадцати,
а сердце отказало раньше,
и я нашла его уже в морге, с ясным лицом.

Имена болезней, Оксана, это слова,
которые мы набрасываем на болезни, раны, смерть,
работающие внутри нас.
Сердце — этот старый орган, что возбуждается и хитрит,
надорван.
Какая польза от ваших маленьких ампул
и стерилизованных игл,
когда вся планета поражена, лишена сил?

Загнанный этот мертвец, которого я никогда не видел,
вот он, здесь, когда его уже не было, он шел за нами
на праздничной прогулке.
И когда я положил руку на плечо Татьяны, Другой, тот,
что во мне, тот, что больше и лучше меня, тот, что знает
тайну, сказал мертвецу рядом со мной:
— Эта рука — тебе, и это плечо, я тебе его подставляю.

Ты, молодая, должна подставить ему плечо —
пусть он обопрется — ты должна отдать ему все, пойми же:
он мертв,
и у него нет теперь ничего, кроме нашего тепла, у него
нет теперь ничего, кроме моих рук, чтоб обнять тебя,
и только тебя во всем мире, потому что я единственный
его знаю.

Прошли оркестры, прошли слегка несуразные танки,
флаги, процессии, солдаты,
поющие о захваченных городах на берегу Тихого океана,
прошли атлеты, прошли голубые облака, ласкавшие степь.
Маленький пастушок-монгол, босой и в фетровой шляпе,
бодро шагавший за хлопающими флагами,
будто исполнитель маршей, —
прошел —
ты остаешься.

Прошли — этот день, его звуки, его раскаты труб и раскаты
солнца,
мы остались вдвоем, у меня теперь это подставленное
плечо, и эта нагая грудь, этот согласный рот, эта прощенная
душа, вплотную ко мне, вплотную к тебе,
и в меня перешло ушедшее из тебя тепло.

Милый незнакомый мертвец, я ли не ошибался в тебе,
пренебрегал тобой, оскорблял,
в наших жизнях отдельных,
в наших жизнях растерянных,
ты стынешь теперь в земле, а мы стоим на земле,
и ничто не разделяет нас более, ведь мы снова соединены
взошедшими звездами и этим знаком меж нами:
сияющими с вышины треугольниками Кассиопеи.

Оренбург, лето 1935.

ДОВЕРИЕ

Я видел, как зеленеет степь и растет ребенок,
Мои глаза встречают человеческий взгляд
Тоби, славного пса, который мне доверяет.

Лазурь касается земли, мы вдыхаем небо.
Рыжие коровы пасутся под облаками славы,
и издали кажется,
что худая киргизка, смотрящая за ними,
совсем не знает нужды.

Закатное солнце, вот наши груди, возьми их!
Вот наши тела, которые ты наполняешь сиянием,
Вот мы умытые,
очищенные,
освобожденные,
умиротворенные —
в том месте, где сходятся река, долина и небо.

Ничто не забыто, ничто не потеряно, мы надежны,
надежные люди, люди, преданные другим людям,
какими бы ни были момент, риск, тяжесть, боль,
злоба,
наша верность надежна.

Мой сынок, сынище, мы будем рассекать воду
медленными гребками.
Давай доверять реке, пронзенной лучами,
доверять этим водам, испытанным нашими братьями —
утопленниками.

Доверять мягким и гибким мышцам ребенка,
который ныряет с крутого берега, а потом кричит:
«Ух ты, папа, тут страшно и здорово, я достал до дна,
тут день сливается с тенью и дрожит, дрожит...»

Изящное худое тело стрелой несется по воздуху, по воде,
доверие закрытых глаз, доверие открытых глаз.
Разве есть траектория вернее, чем полет птиц?
Моя мысль следует за ним, такая же живая, такая же
уверенная,
стрела, летящая сквозь ничто,
несущая зыбкие образы всего, что было,
воздушная, щедрая,
дарящая единому будущему множество возможных.

На дикой розе спит скарабей,
мальки в пруду испугались наших теней,
здесь благодать и тишина, земля вертится,
унося день, ночь, рассветы, вечера,
тропики, полюса, пустыни
и города,
наши мысли
и наше общее странствие в бесконечности,
вечности,
и глаза
к созвездию Геракла, которое само сметено
такими потоками звезд, что вся ночь разметана прочь,
— и поражение сметено...

ОЩУЩЕНИЕ

Л. (— Don't be sad...)

После прекрасного Нотр-Дама, опрокинутого
в Сену, чистую из-за клошарских покаяний,
после трепещущего витража, открытого
в черной воде,
где звезды тянут
немыслимые свои нити
сквозь очертания морских коньков и листьев,
реальных, как миражи,

что остается, о мой безумно рассудительный дух,

что остается недоступным
для спящего, который, пробудившись,
идет по этим тёмным набережным,
от Коммуны
к Коммуне,
шествие, полное надежды
его убитых братьев?

ПАРИЖ, 1938.

ПУЛЕМЕТЫ
ОГОНЬ НА СНЕГУ
РУКИ

«Пулеметы» — первое стихотворение Сержа российского периода, написанное вскоре после приезда в Петроград в 1919 году. «Огонь на снегу» - текст, в котором также осмысляются петроградские впечатления. «Руки» — последний текст Сержа, резюмирующий в том числе относительно отстраненный, не связанный с прямым участием в политике мексиканский период жизни, своеобразный гуманистический манифест.

Пулемет и старинный терракотовый кувшин олицетворяют два полюса человеческой деятельности, два полюса революции и прогресса. В случае Сержа это, во-первых, погруженность в стихию радикального политического действия, связанного, среди прочего, с бессмысленным уничтожением, с огромным моральным грузом, во-вторых, чувство связи с другими людьми, с человечеством — вопреки времени и пространству, благодаря общему творческому, созидательному началу, выраженному в результатах авторского или же безымянного, коллективного труда. Опыт Сержа показывает, что ощущение такой связи — одна из возможностей сохранять достоинство в политической борьбе, защита от сиюминутных идеологических зигзагов и конформистских соблазнов.

Эти два полюса — как и «двухкультурность» — создают напряжение всей жизни, мироощущения и письма Сержа, делая его идейно — а потому и эстетически — уникальным не только в контексте раннесоветской литературы, но и в контексте послевоенной и современной авангардной поэзии, а также новой левой политики.

К. Медведев, переводчик и составитель

ПУЛЕМЕТЫ

В воротах домов, в воротах дворцов — которые мы
захватили —

По всему городу,
где идет холодный, угрюмый и мощный бунт,
повсюду в дверях наших домов —
пулеметы в темных углах.

Угрюмые, чтобы нести смерть;
слепые, бьющие от самой земли,
слепые, холодные, из железа, из стали —
с элементарной ненавистью
в металле,

с их стальными зубами, готовыми кусать,
их часовым механизмом,
колесами, гайками, рессорами,
с их короткими пастями черными, на коренных
треногах...

Эх, машина трагическая, вещь из стали, железа, инертная,
дробящая секунды в роковые минуты битвы,
крошащая секунды — тра-да-да-да —: секунды падают в
бесконечность — и жизни валятся в огромный холод могил,

Машина,
истребляющая, рвущая, дерущая, пробивающая,
разрывающая плоть, — вспарывающая кровь и нервы,
— ломающая кости, превращающая хрип в пение
изрешеченной груди,

заставляющая мозг сочиться из трещин великих лиц:
серый, среди почерневшей крови...

Низкая машина убийства, повсюду в городе угрюмого
бунта,

притаившаяся в дверях наших домов, высматривающая
то, что вот-вот родится,

высматривающая

то, что восходит из человеческих сердец и из глубин

живущей земли,
восходит из горячей веры, безумной надежды и ярости,
— из желания и света — из рвения и мольбы,
восходит, чтоб расцвести — действует, кричит — пламя:
восстание...
Низкий, чтобы срезать на взлете, пулемет в засаде: победа
железных законов над человеком,
победа металла над плотью — и над мечтой — закон смерти.
И эту машину
создали наши руки и наши мозги. Отче! Разве мы ведали,
что творили?

ОГОНЬ НА СНЕГУ

Снег и ночь. Ноша тяжела. Идешь, спотыкаясь, по глубокому, обманчивому белому снегу. Кругом грузно шагающие люди с винтовками в руках. У этих белофиннов враждебные лица — насупленные, твердые, тяжелые. Идут молча. Стволы их винтовок будто притягивает к земле.

Мостик, будка; еще человек во тьме, сжимает винтовку обеими руками. Каракулевая шапка, бесформенное серое пальто, бледное, тощее мужицкое лицо. Мы приветствовали его сдержанно, с замиранием сердца, глухо, несмотря на радость: «Здорово, брат!». Глаз не видно в огромных темных провалах неровного лица, надвинувшегося на меня. Спрашивает тихо: «У вас есть белая булка?» Берет протянутый хлеб. «Голодно?» — «Да. Но ничего», — отвечает на пороге огромной России наш брат, красноармеец, стоящий на морозе, в ночи, голодный — один.

Голодно, но ничего...

Белая ночь с разрывами снарядов вдаль, короткие броски по пустым улицам, грузовики, оцетинившиеся штыками. Винтовка в окоченевших руках. Но этот полночный, бесконечно тусклый свет, эта тишина, это ожидание — только они и умиротворяют. Будто дают свободу. — Свободный, простой, тихий, что бы ни произошло.

*

Скрещенные винтовки стоят перед закрытыми дверями. Наши шаги раздаются в тепле чужого жилья. Беспокойство на лицах, лампы вдруг вспыхивают в сером сумраке. Разбираешься в документах у окна, испуганные глаза, в которые всматриваешься пристально и с грустью: «Обманываете?»

Возвращение. Усталость. Винтовка тяжела. Но нужно. Нужно. Нужно.

— *Мы строим новую жизнь.*

*

Толпа. — Решительная эта толпа собралась в огромном четырехугольном зале с белыми колоннами, в Таврическом дворце — эта прирученная толпа, напряженная, бурная, охотно рукоплещущая оратору:

Изогнувшемуся мужчине с пышной густой седеющей гривой, с подвижным интеллигентным лицом, с рубленным голосом, с уверенными жестами, который выражает волю толпы к победе и призывает к *terrору*.

*

Песня толпы.

Молодые женщины — совсем не заботятся о том, как быть изящнее, миловиднее, но что за стойкость! — в этих коротких стрижках, грудях, затянутых в кожу или военные гимнастерки; рабочие, солдаты, крестьяне, моряки, толпа поет «Интернационал» после «Вы жертвою пали».

Эта толпа хочет жить, творить жизнь. Но сколько из этих людей с тех пор убиты?

*

Этот огромный город — весь белый, весь тихий. Ведь сани идут по снегу бесшумно. Шаги не отдаются эхом. Огромный бледный свет на всем. Широкая, в розовом граните, застыла под снегом Нева. Вдали золотой шпиль Петропавловской.

*

Беднота в лохмотьях, множество подростков, попадают дети, всегда с винтовками, часто висящими на веревках вместо ремней. — У бедняг окоченевшие руки. Вот серые оборванцы решительно переходят Литейный. На кончике штыка красный флаг:

Рабочий батальон Нарвского района.

*

В шумном бараке, где на стенах Маркс и Ленин в красных лентах, на нас наседают люди, Агитатор с суровым недоверчивым лицом, в пенсне с золотой оправой, с ребяческими и серьезными глазами, низенький товарищ в кожаной куртке, с круглым потешным носом, аккуратными казачьими усиками. Сыплют вопросами: «Демобилизация..? французский рабочий класс..? революция на подходе..?» Злишься, сокрушаешься, восстаешь, но должен, должен упорно отвечать этим мужчинам, этой женщине: *Нет, вы одни*

*

Это лицо без явной красоты, огромный лоб, эти неприятные очки в белой металлической оправе, за которыми всегда был один и тот же взгляд — серьезный, рассеянный, немного отстраненный, весьма манящий, и ещё приятный, благожелательный... Трудимся до зари. На заре сидим на подоконнике над пустынной площадью (гранитная громада Исаакиевского собора, огромный золотой купол: холодные прямоугольные дворцы, и этот тщедушный бронзовый всадник из другой эпохи на искусном постаменте...), наши поиски, наша мысль, наш холодный рассудок

(«... Мы никак не сможем удержаться более шести месяцев, если не...») от этого сами улыбаемся, полные неистощимой уверенности...

*

Эта толпа в снегу, солнце в зените, мимо несут гробы, накрытые еловыми ветками. Красные ленты, флаги. Золотой луч на шпиле Адмиралтейства. Песни. — Песня парит над землей. Молитвы и всхлипы в толпе живых, что прощаются с толпой мертвых. — Здесь спят они, за гранитным бастионом, повешенные, расстрелянные, заколотые, умершие от тифа, все пали добровольно и без-

заветно. Пали за революцию. Так часты эти похороны на Марсовом поле...

*

Четыре тысячи солдат — мужики из Вязьмы, Рязани, Твери, Орла, Вятки, Перми — русские, татары, киргизы, черкесы — четыре тысячи солдат на пайке из воблы — твердой, как камень, от которой кровоточат десны, — и 400 граммов черного хлеба в день — одетые этой ледяной зимой в старые шинели великой войны, бьющие в ладоши, как дети, и смеющиеся, кричащие, шумящие. Зал имперского театра, весь в сине-золотом бархате, вдруг сотрясается от этой чистой человеческой радости,
потому что высочайший артист запел

*

Шесть часов пути под ледяным северным ветром вдоль Невы. Прогрогнув, по очереди греемся у котельной. И вот среди холодного северного пейзажа — мертвый остов старого замка; Шлиссельбург. — И здесь, в домике, в гробу крупное длинное тело анархиста Иустина Жука, крупное лицо Иустина Жука.

Какие же крупные лица у тех из нас, кто уже умер!

*

Серебряный бор, июньское утро; нежно журчит река среди лугов и лесов. Купол церкви — синий или золотой — уже не помню — выступает на солнце. На всем свет, светлое русское сияние; и покой детских домов в июньском мареве, в зелени, в журчании воды, в ожидании будущего. Узкие длинные походные койки, вдоль перегородок, благоухающих смолой, цветные девичьи рисунки на стенах: вся эта чистая Детская Страна совсем недалеко от нашего города, охваченного гражданской войной...

*

Девочка — семи лет — с очень большими темными глазами на приятном калмыцком личике, маленькая хрупкая душа, рано развившаяся, чуткая, в худом теле, медленно чахнущем от голода: Татьяна, дочь аристократа, которую ласково называют Таней, Танюшей, Танюшечкой. Она говорит:

— Вы ведь большевик, ответьте мне! Почему расстреляли Лавра Андреевича?

— Я большевик, маленькая Таня, и я не знаю, почему расстреляли Лавра Андреевича...

*

Угол улицы, тающий грязный снег, ребенок, продающий спички; цена спекулятивная, спички ворованные. Хорошо одетый прохожий, военная выправка, сапоги, походка. Ребенок преследует его с яростью в глазах:

— *Буржуй!*

*

И огромный мертвый завод, железный лом на ступеньках, ржавые станки, гигантские осевшие машины, замасленные, неработающие. Застекленные коридоры с выбитыми окнами, где скоро останется только железная арматура, брошенная на руинах города... Огромный мертвый завод: тридцать тысяч рабочих в 1914 — четыре с половиной сегодня. Остальные: мертвы, солдаты, вернувшиеся к земле, мертвы лучшие, солдаты мертвы.

Но возле сторожки — чахлый садик, возвращенный с большой заботой; а на огромной мертвой фабрике — грохочущий цех, где 70 мужчин, измученных голодом, корпят над сломавшимся локомотивом.

*

Город. Узкие черные улицы, город в блокаде, замирающий в восемь часов, с первыми сумерками. Повсюду люди с винтовками.

Город, ночь, снег. В домах мерцающие огоньки, в глубине холодных комнат ежится старик в шубе, с окоченевшими руками, читает при отблеске свечи:

Мистицизм Владимира Соловьева,

а во мраке комнаты подросток, кутающийся в шинель, дрожит и думает вслух:

электрификация Урала.

*

За городом. Здесь можно часами идти по полям или лесам, и не услышать человеческого голоса, не встретить ни домишки; но по дороге непременно набредешь на зеленую церковь среди берез, с маленьким зеленым треугольным фронтоном, и византийскую колокольню — синего или иного цвета, всегда яркого, ясного, лучистого.

*

Пространство — поля, где поезд идет долгими часами, поля, где разбросаны деревни: серая солома крыш, — поля, где вдали церкви с золотыми крестами, всегда сияющими на закате, — и березовые рощи, стройность и белизна, серебряная стройность берез.

(наши старинные певцы сравнивали их с невинными девушками...)

*

Снова город. Старый магазин Фаберже: товары из Парижа, предметы искусства (стершаяся вывеска). Трещины от трех пуль по всей огромной витрине. Бумажки с объявлениями (страницы, вырванные из огромной бух-

галтерской книги за номером 124). «III бюро снабжения. 24 февраля с.г., 1 фунт воблы по карте Б». Из окон старой гостиницы «Регина», где лазарет, выглядывают тифозные солдаты. — Здесь: *Алина, моды*, большие золотые буквы, рукописным шрифтом. Ниже: «Штаб особого рабочего батальона Казанского района». — *Кафе Империя*: нет: «Клуб 14 государственной типографии». На входе Карл Маркс в красных лентах. Ленты выцветшие, портрет блеклый.

*

На улице, застроенной церквями, дворцами, — где теперь наши клубы — разграбленные магазины, театры, библиотеки, казенные здания: Книгоцентр, военное училище (бывший банк), — на улице, что ведет от Адмиралтейства, построенного Петром Великим, к угрюмому царю Александру, который так грузен на своем грузном бронзовом коне, будто удрученно созерцает падение своей империи, — по этой улице идут с песней всадники-монголы. Красные ленты на рукоятках сабель, впереди пятиконечная красная звезда.

(Ты, ты, наш поэт, говорил с такой любовью к Европе: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы...»)

На рукоятках сабель красные ленты.

*

Утро, весна, голубизна, хочется улыбаться. — Люди на площади читают только что вывешенную газету. Откуда это название: Правда, слово из двух слогов, такое ли оно твердое, резкое, острое на других языках: *Vérité, Wahrheit, Truth, Verdad*? Обрывок газеты шуршит на ветру.

«33. Никифор Аркадьевич Ижин, 33 года, спекулянт. — 34. Денская Елена Дмитриевна, 24 года, модистка, обвинена в шпионаже. — 35. Василий Васильевич Онегин, 42 года, служащий, аристократ, уличен в контрреволюционной деятельности... — 58. Абрам Абрамович, 30 лет,

гражданский служащий, член Коммунистической партии, обвинен во взяточничестве...» расстреляны.

— Шестьдесят! слышен молодой голос.

Читают рассеянно, улыбаются по ходу: ему двадцать, красный курсант; ей девятнадцать, уполномоченная от завода «Динамо». Кого из них убьют под Кронштадтом?

*

«Декрет Совета Народных Комиссаров № XXX. Об отмене платы за жилые помещения...» «Декрет Совета Народных Комиссаров № XXX. Об отмене права частной собственности на недвижимость...»

«Декрет Совета Народных Комиссаров № XXX. Ликвидация безграмотности...»

«Декрет Совета Народных Комиссаров № XXX. Образование Татарской автономной республики...»

«Декрет...»

Стоишь и читаешь на улице, на снегу. Холод пронизывает, слышны пушечные выстрелы.

*

Она часто приходила около полуночи, предварительно позвонив по телефону («Чай есть?»). Встряхивала светлыми пепельными волосами. Улыбалась серьезно и по-доброму. Говорила:

«Понимаешь, местное разукрупнение металлургической отрасли... Поскольку Высший совет народного хозяйства и Совет профсоюзов...» — или

«Тезисы Богданова со строго марксистской точки зрения...» или «Подразделение организации комитета II отдела постановило...»

Закуривала. Губы у нее адели как спелый плод.

*

Презрение к словам — к старым словам. Презрение к идеям, которые обманывают. Презрение к Западу — лицемерному и жестокому, который изобрел парламенты, большую прессу, удушающие газы, тюремную систему Обурна, чтение после обеда. Презрение ко всему, что живет в довольстве среди этого.

Ненависть к огромной машине, давящей слабых, — все беззащитное человечество — в тисках Закона, Полиции, Церкви, Школы, Армии, Заводов, Тюрем. Ненависть к тем, кто нуждается во всем этом, а именно к богатым, классовая ненависть.

*

Стремление все испытать, все вынести, всего добиться, чтобы покончить с этим. Стремление непреклонное. Стремление жить наконец-то по новому закону совместного труда — или погибнуть, показав путь. Стремление возделывать почву и души, живущие на ней, — так, чтобы завтра была новая земля.

*

Осознание того, что настоящего почти нет; и все нужно в этот час отдавать будущему, чтоб в нем было настоящее. Осознание того, что все мы ничего не значим, если только не составляем часть своего класса, восходящего человечества. Осознание того, что впереди работа без конца, что она требует миллионы рук и мозгов, что она — единственное оправдание наших жизней. Осознание того, что мир рухнет, и выжить можно только отдавая себя тому миру, который готов родиться.

ПЕТРОГРАД — МОСКВА, 1920-1921.

РУКИ

*Терракота. Итальянский автор 16 века,
иногда приписывают Микеланджело.
— Музей Лондона.*

Что за чудесная связь, старик, у твоих рук с нашими!
Как тщетны века смертей перед твоими руками...

Безымянный художник, ты ошарашил их цепким жестом,
возможно, рука еще вздрагивает или только что замерла,
Вены бьющиеся, это старые вены, затвердевшие от песни
 крови,

ну что же они хватают, твои слабеющие руки,
хватают ли они землю, хватают ли они плоть,
в последний раз или в предпоследний раз,
собирают ли они кристалл, в котором чистота,
ласкают ли они живую тьму, в которой завязь плода,
есть ли в них терпение,
есть ли в них упорство, огонь, сопротивление,
есть ли в них тайная слабость?
В них точно есть гордость.

Вены твоих рук, старик, выражают мольбу,
мольбу твоей крови, старик, предпоследнюю мольбу,
не словесную мольбу, не церковную,
а мольбу огня думающего,
мощного — немощного.

Их присутствие ставит мир против себя самого,
вопрошает у него, как вопрошают у того,
что безусловно любят,
зная точно, что ответа не будет.

Один ли я, глухой, столь отделенный от тебя,
столь отчужденный от себя,

один ли я знаю, как ты одинок,
я, одинокий в этот миг и тянущийся к тебе
через времена?

Или мы одиноки вместе,
среди всех тех, кто в этот срок заодно с нами одинок,
слагаемся в единый хор, который шепчет в наших общих
венах,
наших поющих венах?

Я думал сказать тебе, старик, нечто волнующее,
взволнованное,
братское,
найти для тебя, во имя всех остальных, нагое слово
северного сияния,
блеска ледников,
слово простое, доверительное и тайное.

Ты же не знал,
что вены на висках казненных на электрическом стуле
вскипают как сгустки бунтующей крови
под кожей, блестящей от пота, который страшнее пота
распятого Христа.
Кто-то сказал мне, что это напомнило ему
о мухе, ставшей добычей диковинного паука,
и та муха — спасенная душа.

Ну что я мог сделать, что я мог сделать, дабы успокоить
твои вены,
я, изведавший пытки, ты, изведавший пытки,
мы всё же должны суметь, друг ради друга,
с одного конца времени в другой
бросить в неумолимое равновесие вселенной
хотя бы хрупкую мысль, знак, строку,
возможно, она не имела бы сути, свечения, но она была бы!
столь же реальная, как умоляющие вены на твоей руке,
как мои вены, почти неотличимые...

Пусть последний свет последней зари,
пусть последняя мерцающая звезда,
пусть последняя тягость последнего ожидания,
пусть последняя улыбка просветленной маски
будут на венах твоей руки, найденный мной старик.

Капля крови падает с одного неба на другое,
ослепительная.

Наши руки - это бессознательность, твердость, восхождение,
сознательность,
церковное пение, восторженное страдание,
прикованность к радугам.
Вместе, вместе, едины,
вот они схватили
нежданное.

И мы не знали, что
держали вместе
ту ослепительность.

Капля крови —
один луч света падает с руки на руку,
ослепляя.



МЕХИКО, НОЯБРЬ 1947.

[ПОСВЯЩЕНИЕ]

Эльцин Борис Михайлович (1875–1937) — деятель большевистской партии. Член РСДРП с 1898 г. С 1923 г. участник Левой оппозиции в РКП(б). В 1927–28 гг. руководитель подпольного оппозиционного центра в Москве. В 1929–36 гг. в ссылках и политизоляторах. В 1936 г. дважды приговаривался к 5 годам лагерей по обвинению в «контрреволюционной троцкистской деятельности» и «контрреволюционной агитации». Один из организаторов протестов и голодовки политзаключенных в Магадане в 1936 г. Расстрелян. *

Певзнер Ханаан Маркович — советский коммунист-оппозиционер. Член РКП(б) с 1920 г. Участник Гражданской войны. Муж племянницы Г. Ягоды. Работал в партийном аппарате, в наркомате финансов. Принадлежал к Левой оппозиции в ВКП(б). В 1927 г. исключен из партии по обвинению в причастности к делу о «подпольной типографии» оппозиции. С 1928 г. в ссылках и политизоляторах.

Василий М. Черных — комиссар Красной армии.

Беленький Яков Абрамович (1907–1937) — советский коммунист-оппозиционер. Рабочий, затем сотрудник газеты «Правда». Член ВКП(б) с 1925 г. В 1927 г. примкнул к внутривнутрипартийной Левой оппозиции, троцкист. В 1929 г. арестован за оппозиционную деятельность. В 1929–35 гг. находился в заключении и ссылках. В 1936 г. приговорен к 5 годам лагерей. Активный участник сопротивления политзаключенных в Севвостлаге. Расстрелян.

Яков Бык — украинский троцкист.

Борис Ильич Лаховицкий — портной из Минска, оппозиционер.

Алексей Семенович Санталов — ленинградский токарь.

Свалова Лидия Зиновьевна (1907–1937) — советская коммунистка-оппозиционерка. Жена Я. Беленького. Работала на заводе в Перми. В конце 20-х гг. принадлежала к

* Здесь и далее частично использованы комментарии из книги «От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера». Оренбургская книга, НПЦ «Праксис», 2001.

Левой (троцкистской) оппозиции в ВКП(б). В 1928 г. арестована за подпольную оппозиционную деятельность, отправлена в ссылку. В 1936 г. приговорена к 5 годам лагерей. Активная участница сопротивления политзаключенных в Севвостлаге, принимала участие в протестах и голодовках. Расстреляна.

Фаина Эпштейн — оппозиционерка из Одессы.

Нестеров Борис Павлович (1894–около 1937) — член РКП(б) с 1918 г. В 20-е гг. сотрудник Секретариата Совнаркома СССР, затем на хозяйственной работе, в начале 30-х гг. член президиума уральской областной плановой комиссии. В 1932 г. арестован по обвинению в принадлежности к «антипартийной контрреволюционной группе правых Слепкова и других».

Егорыч — вероятно, Иван Егорович Бобров, товарищ Сержа по ссылке, упоминаемый в книге «От революции к тоталитаризму». «"Я — правый коммунист, секретарь Н-ского райкома Сталинградской области, участник Гражданской войны Иван Егорыч Бобров". Представился в свою очередь и я. Беспощадно правдивый доклад о коллективизации в его районе дорого ему обошелся: Бобров едва не умер от голода в тюремном подвале — из тридцати его сокамерников десять находились на грани гибели. Теперь он тоже направлялся в Оренбург» (*От революции к тоталитаризму*. 8, 361).

ГРАНИЦА

Опубликовано в брюссельском журнале *Le Rouge et le Noir* («Красный и черный») 12 декабря 1934.

Индустриальные рабочие мира — легендарная американская профсоюзная организация, основана в 1905.

УРАЛЬЦЫ

Опубликовано в *Almanach populaire* («Народный альманах», издание Соцпартии Франции), Париж, 1937.

«For in this world all men kill the thing they love» — известная цитата из поэмы Оскара Уайльда «Баллада Реддингской тюрьмы». Цитата из русской версии в переводе В. Брюсова.

Пюви де Шаванн — французский художник (1824–1898), Серж имеет в виду его картину «Бедный рыбак».

СТАРУХА

Написано в 1933, опубликовано в 1935 в журнале *À contre courant* («Против течения»).

ГДЕ-ТО ТАМ

Опубликовано в *Almanach populaire*, Париж, 1938.

ЧЕТЫРЕ ДЕВЧОНКИ

Опубликовано в журнале *La Révolution prolétarienne* («Пролетарская революция»), 1934.

«...мир таинственной мечты, неги, ласк, любви и красоты» — цитата из стихотворения Ш. Бодлера «Приглашение к путешествию» (пер. Дм. Мережковского).

ИСТОРИЯ РОССИИ

I. *Интрига подкосила пред этим страшным женихом бледную Офелию, едва не задушенную собственными косами...* — «В начале 1647 года государь задумал жениться. Собрали до двухсот девиц; из них отобрали шесть и представили царю. Царь выбрал Евфимию Федоровну Всеволожскую, дочь касимовского помещика, но когда ее в первый раз одели в царскую одежду, то женщины затянули ей волосы так крепко, что она, явившись перед царем, упала в обморок. Это приписали падучей болезни. Опала постигла отца невесты за то, что он, как обвиняли его, скрыл болезнь дочери. Его сослали со всею семьею в Тюмень»*.

...*Натальей, которой было суждено выносить во чреве жестокосердного Петра — от неизвестного отца...* — Фактическая ошибка: Петр был родным сыном Алексея Михайловича.

II. *Том Муни (1883–1942)* — американский рабочий активист, близкий к Индустриальным рабочим мира. В 1916 вместе с профсоюзным активистом У. Биллингсом и др. был арестован по провокационному обвинению в организации взрыва во время милитаристской демонстрации в Сан-Франциско (22 июля 1916). В 1917 приговорён к смертной казни; под давлением общественности смертная казнь заменена в 1918 пожизненным заключением. В 1939 власти вынуждены были освободить М.

* Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.
<http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kostom/kostom34.htm>

Конгресс объединенной федерации учителей — проходил в Монпелье 4–6 августа 1934.

Коломан Валлиш (1889–1934) — член социал-демократической партии Австрии, один из руководителей антифашистского выступления австрийского пролетариата в феврале 1934, повешенный вместе с другими 8 членами Шуцбунд, военизированной организации с.-д. партии Австрии. Перед смертью крикнул: «Да здравствует социал-демократия! Свобода!» Его жена Паула написала книгу воспоминаний *Ein Held stirbt*.

III. Навеяно московскими процессами 1936–38.

ЛОДКА НА УРАЛЕ

Опубликовано в журнале *À contre courant*, Париж, 1936.

ТЕТ-А-ТЕТ

Речь идет о Любви Александровне Русаковой (1898–1984), второй жене Сержа. Родилась в Ростове, эмигрировала в Марсель после погромов 1905 года. С Сержем познакомилась в 1919 году на корабле, когда оба возвращались в Россию. В 1930 в связи с преследованиями Сержа со стороны ОГПУ у нее проявился психический недуг, который тогда квалифицировался как шизофрения, а сегодня, вероятно, был бы назван маниакально-депрессивным психозом. Гастон Фердьер, врач-психиатр и поэт-сюрреалист (позже лечивший Антонена Арто), чтобы просветить Сержа по этой теме, послал ему «Поэмы безумия» Гельдерлина (в переводе на французский Пьера Клоссовски).

ДИАЛЕКТИКА

2 сентября 1792 из-за распространившихся по Парижу слухов о сдаче Вердена пруссакам произошли стихийные расправы над заключенными, подозреваемыми в контрреволюционных настроениях и заговоре.

Гастон Александр Огюст де Галифе (23.1.1830–1909) — французский генерал, один из палачей Парижской Коммуны.

Майяр Станислав-Мари (1763–1794) — французский революционер, один из вожakov санкюлотов Парижа. В сентябре 1792 года принял активное участие в расправах над заключёнными в тюрьмах, лично возглавил «народный трибунал» в Аббатстве Сен-Жермен, где за два дня погибло около 270 человек. В октябре 1783 был арестован как

участник заговора «крайних революционеров» и помещён сначала в тюрьму Ла-Форс, а затем в Люксембургскую тюрьму, из которой был освобожден и вскоре умер от туберкулеза.

Арман-Марк Монморен (1746–1792) — граф, французский политический деятель; был министром иностранных дел в 1789–1791 годах, ярый враг революции. В 1792 году арестован и казнен.

Жак Никола Бийо-Варенн, или Билло-Варенн (1756–1819) — деятель французской революции, видный член «великого» Комитета общественного спасения, левый термидорианец.

СОЗВЕЗДИЕ МЕРТВЫХ БРАТЬЕВ

В стихотворении перечисляются товарищи Сержа, революционеры с трагической судьбой.

Андрэ — Андрей Броде, латвийский моряк. Познакомился с Сержем в 1918 в концлагере в Пресинье, Франция, куда ссылались в том числе интеллигенты, подозреваемые в «большевистских настроениях». Часть революционной группы, созданной Сержем в концлагере, в т.ч. сам Серж, Броде и Дмитрий Бараков (см. ниже), была отправлена в Советскую Россию в обмен на арестованных участников французской военной миссии. Погиб при защите Риги от антибольшевистской Западной добровольческой армии в 1919.

Дарио — испанский синдикалист Салвадор Сеги (1890–1923), убитый в Барселоне ультраправыми либо полицией.

Давид — еще один знакомый Сержа по лагерю в Пресинье, убитый при побеге. «Пока я делал доклад, приуроченный к нужному вечеру, дабы отвлечь внимание охраны, один из наших попытался бежать, воспользовавшись грозой. Он упал на полосе отчуждения, в мертвенно-бледном свете прожекторов — в двадцатилетней груди — шесть пуль» (*От революции к тоталитаризму. 2, 82*)

Борис — Дмитрий Бараков, моряк-синдикалист, с которым Серж познакомился в Пресинье и прибыл в Советскую Россию, — «больной туберкулезом, который хотел увидеть перед смертью красную Россию; во время путешествия мы поддерживали его с помощью уколов, но он умер сразу по прибытии» (*От революции к тоталитаризму. 2, 83*).

Карл — Мазин (Лихтенштадт) Владимир Осипович (1882–1919) — деятель российского революционного дви-

жения. Во время первой русской революции примкнул к эсерам-максималистам; за изготовление бомбы для покушения на премьер-министра Столыпина в 1906 г. приговорен к бессрочному заключению. В тюрьме подготовил обширное исследование «Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания». После освобождения из Шлиссельбургской крепости в феврале 1917 г. присоединился к меньшевикам, входил в состав Ревкома Шлиссельбургского порохового завода, затем работал в одной из районных управ Петрограда. После октября 1917 г. член «Союза защиты Учредительного собрания». Осенью 1918 г. перешел на большевистские позиции, в 1919 г. вступил в РКП(б). Весной 1919 г. участвовал в организации и выпуске первого номера журнала «Коммунистический Интернационал». С лета 1919 г. дивизионный политкомиссар в Красной Армии. В октябре 1919 погиб в бою с белогвардейцами.

«Четверо» — французские делегаты 2 конгресса III Интернационала, пропавшие без вести на обратном пути, неподалеку от Мурманска, 1 октября 1920: писатель и активист Реймон Лефевр (1891), анархо-синдикалист Жюль-Мариус Лепти (1889), рабочий активист Марсель Верго (1891) и их переводчик Саша Тубин. «Эти четверо отправились в Мурманск, чтобы пересечь линию блокады; им предстояла трудная дорога через Арктику. Они должны были плыть на рыболовецком судне вдоль всего финского берега и высадиться в Варде, в Норвегии, на свободной территории. Торопясь успеть на конгресс ВКТ, четверка села на корабль в ненастье. И исчезла в море. Может быть, они утонули в грозу. А может, их расстрелял финский моторный катер. Я знал, что в Петрограде шпионы ходили за нами по пятам. В течение двух недель Зиновьев, все более и более озабоченный, каждый день спрашивал меня: "У вас есть известия о французах?" Эта катастрофа породила кривотолки» (От революции к тоталитаризму. 2, 137).

Василий — Василий Чадаев, см. примечание к стихотворению «Город».

Нгуен — Нгуен Тат Тхань, Хо Ши Мин (1890–1969) — основатель Коммунистической партии Вьетнама, руководитель августовской революции, первый президент Северного Вьетнама, создатель Вьетминя и Вьетконга, философ-марксист, поэт.

Рене — Рене Вале (1890–1912) — слесарь, в 20 лет дезертировал из армии, стал «иллегалом», примкнув к Жюлю Бонно.

Раймон — Раймон Кальман (1890–1913) — член «Банды Бонно».

МАКС

Опубликовано в журнале *Nouvel Age* («Новая эпоха»), Париж, сентябрь 1931.

Макс — Борис из «Созвездия мертвых братьев» (см. прим.), он же Дмитрий Бараков.

ГОРОД

Опубликовано в *Journal des Poètes*, № 9, Брюссель, 1933. Написано на смерть Василия Чадаева, друга Сержа, участникалевой оппозиции. «Он погиб на Кубани, со своим блоком, пристальным взглядом, точными вопросами, в гуще самых подозрительных махинаций: строительство порта Туапсе, устройство пляжей, ремонт дорог, коллективизация сельского хозяйства! На погибель излишне въедливым исследователям на ночных дорогах разгулялся «бандитизм». 26 августа 1928 г., летним вечером, наполненным пением цикад, местные власти срочно поручили Чадаеву отправиться на телеге вместе с другими в соседнее село. Ночное путешествие через степь и кукурузные поля. Ехавших сопровождал милиционер; он бежал первым, когда в ночи раздались грубые голоса, крики: «Стой!» Телега, в которой ехал Чадаев, была единственной остановленной на обочине дороги. Возница слышал, как мой бедный Василий спорил с бандитами: «Кто вас нанял? Все мы люди! За что?» Я видел лишь страшную фотографию: деформированные пули, выпущенные из обрезов, чудовищно разворотили ему грудь и голову. Мы хотели похоронить его в городе, который он любил. Разве не был он бойцом 1917 года? Ленинградский партком выступил против: разве он не был исключен из партии? Его убийца, естественно, не нашли. Камень с надписью, установленный на месте его гибели, был разбит на куски...» (*От революции к тоталитаризму*, 2, 137).

НА СМЕРТЬ ПАНАИТА

Написано в Оренбурге в 1935, после смерти Истрати 16 апреля. В апреле 1936 конфисковано ГПУ. 24 декабря в Брюсселе Серж восстановил стихотворение по памяти.

Панаит Истрати (1884–1935) — румынский писатель, сын прачки и контрабандиста, в романах и повестях описывал жизнь низов и свои скитания по Европе, за что Роман Роллан назвал его «балканским Горьким». Серж познакомился с Истрати в 1927 году, когда он приехал по приглашению на празднование 10-й годовщины Октябрьской революции. Истрати пробыл в России 6 месяцев и написал (совместно с Б. Сувариным и В. Сержем) критическую книгу об СССР «К другому пламени», после которой подвергся бойкоту и травле со стороны литераторов просоветского толка во главе с Анри Барбюсом.

Неранцула — героиня романа Истрати 1927 года «Le Refrain de la Fosse / Nerrantsoula».

Бараган — степь в Румынии, упоминаемая в названии романа Истрати *Les Chardons du Baragan* («Репейники Барагана»), Париж, 1928.

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ ИМЯ?

«После смерти Сержа его сын не смог получить в тридцатилетнюю аренду участок земли с захоронением. Согласно Хулиану Горкину (1902–1987), похороны помогли оплатить активисты ПОУМ. Апатрид и интернационалист Серж был похоронен как гражданин Испании на французском кладбище в Мехико. Спустя десять лет никто не внес деньги за новую аренду и останки Сержа были помещены в общую безымянную могилу. “И нет над гробом слов”, как писал Оскар Уайльд в “Балладе Редингской тюрьмы”. “Ни цветов, ни венков” — гласит надпись на могиле. В такой безымянности мы видим нерушимую связь, тайную, невидимую, со всеми его братьями с Колымы, зарытыми в глухой тайге, без каких-либо опознавательных знаков...», — размышляет по поводу этого стихотворения Жан Риер, составитель и комментатор книги стихов Сержа «За костер в пустыне».

«На кладбище Коктебеля...» — в мае-июне 1932 Серж с семьей был в Коктебеле, где встречался с жившим там поэтом Максимилианом Волошиным.

ОЩУЩЕНИЕ

Посвящено возлюбленной Сержа L.S., с которой он встретился в Париже в 1937. Она стала его последней спутницей в Мехико и намного пережила его.

ПУЛЕМЕТЫ

Опубликовано в *Clarté*, Париж. 1 февраля 1922.

ОГОНЬ НА СНЕГУ

Опубликовано в *Clarté*, Париж. 20 марта 1923.

Изогнувшемуся мужчине... — Имеется в виду Лев Троцкий.

Это лицо без явной красоты... — Имеется в виду Владимир Осипович Лихтенштадт (Мазин), см. стр. 98.

...высочайший артист запел... — концерт Федора Шаляпина описан также в романе Сержа «Завоеванный город» (Москва, 2002).

Иустин Жук (1887–1919) — российский революционер, анархист. В 1917 примкнул к большевикам, жил и работал в Шлиссельбурге, был уездным комиссаром по продовольствию. Погиб на фронте в Карелии.

РУКИ

Написано в ноябре 1947. См. стр. 15.

СОДЕРЖАНИЕ

Ричард Гриман. Предисловие (3)

Граница (21)

Уральцы (24)

Старуха (26)

Где-то там (27)

Четыре девчонки (28)

Задыхающийся (30)

Тифлис (33)

Преступление в Тифлисе (35)

История России

I (38)

II (41)

III (44)

Лодка на Урале (47)

Тет-а-тет (50)

Диалектика (52)

Крепись (55)

Созвездие мертвых братьев (56)

Макс (58)

Город (62)

28 августа 1928 года (64)

Смерть Панаит Истрати (66)

Зачем писать имя (70)

Кассиопея (71)

Доверие (73)

Ощущение (75)

Пулеметы (79)

Огонь на снегу (81)

Руки (90)

Примечания (93)

Содержание (102)

В поэтической серии Свободного марксистского
издательства выходят и готовятся книги:

Кеннет Рексрот. Обозначение всех существ

Пьер Паоло Пазолини. Красивый как конь

Альдо Нове. Поэма «Мария» и интервью
с «новыми бедными»

Назым Хикмет. Во имя космоса и братства

Владислав Шленгель. Контратака

А также сборники стихотворений
Одри Лорд, Эдриен Рич и др.



